

НЕНОРМАТИВНЫЙ
ВНИМАНИЕ
ЛЕКСИКА

chuck palahniuk
чак поланик

SURVIVOR уцелевший

весьма вольный перевод | Завгородний



I D C R E A T I V E

disclaimer

отм а з к а

ЭТОТ ПЕРЕВОД ВЫПОЛНЕН И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ протеста, ну и так далее, поскольку переводчики меняются, а переводить мы всё никак не научимся.

Настоящим приношу свои извинения лично Чаку Поланику и прошу не принимать этот перевод как попытку подорвать его благосостояние, а всего лишь как попытку дать русскоязычным читателям представление о действительном содержании книги.

Использование этого перевода в любых целях, кроме ознакомительных, является нарушением авторских и смежных прав автора и переводчика.

Вашу мать, *имейте совесть!*

п р е д и с л о в и е п е р е в о д ч и к а

Эта книга не о религии и вере.

Это книга о сектах.

Эта книга не об анаболиках и стероидах.

Это книга о саморазрушении.

Эта книга не о прожекторах и телекамерах.

Это книга об их цене.

Завгородний

п о с в я щ е н и я и б л а г о д а р н о с т и

Майку Кифи и Майку Смиту. Шону Гранту, Хайди Уиден и Мэтту Поланику.

Агент в этой книге — это не мой агент Эдвард Хайберт с его юмором, знаниями и энергией.

Во всей книге нет человека умней моего редактора Джерри Ховарда. Во всём мире нет человека жёстче и несговорчивей, чем Луиз Розенталь, которая так помогла мне.

Этой книги бы не было без семинаров начинающих писателей по вторникам у Сьюзи.

У кого книга *сегодня*? †

Все примечания и выделения — переводчика. Впрочем, почти все абзацы и знаки препинания — тоже.

† Этой фразой традиционно начинаются встречи начинающих американских писателей и поэтов. В переносном значении она означает приглашение прочитать что-нибудь, продемонстрировать своё творчество.

И от переводчика: огромная благодарность Александру Булгакову, из-за которого в книге стало больше букв «ё», больше ударений, меньше ошибок, и без которого читатели увидели бы книгу намного позже.

47

f o u r t y s e v e n
с о р о к с е м ь

ПРОВЕРКА, ПРОВЕРКА. ОДИН, ДВА, РАЗ.
Проверка, проверка. Один, два, раз.

Я не знаю, работает ли это. Я не знаю, слышите ли вы меня.

Но если вы слышите меня — *слушайте*.

И если вы слушаете, значит то, что вы нашли — это история, как всё пошло наперекосяк.

Это называется «бортовой самописец» рейса двадцать тридцать девять, его называют «чёрный ящик», хотя он *оранжевый*, а внутри него проволока, на которой останется запись всего этого.

То, что вы нашли — это история, как всё произошло.

Дальше.

Вы можете нагреть эту проволоку добелá и она всё равно расскажет ту же историю.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

И если вы слушаете, то должны знать, что пассажиры дóма и в безопасности, они совершили то, что называется «высадкой», на островах Новые Гебриды.

Потóм мы вдвоём вернулись в воздух и пилот куда-то прыгнул с парашютом, куда-то в воду, в то, что называется «океаном».

Я продолжаю это говорить, но это правда.

Я не убийца.

И я здесь один.

Летучий Голландец.

И если вы слушаете, вы должны знать, что я один в рубке самолёта рейса двадцать тридцать девять с целой кучей таких маленьких бутылочек с водкой и джином — большинство уже пустые — рядом вдоль передних окон — на панели с приборами — напротив кресла — в кабине подносы с недоеденными порциями — цыплята по-киевски и бефстроганов[†] — кондиционер вытягивает остатки запахов.

Журналы всё ещё открыты на тех местах, где их читали — все сиденья пустые — можно притвориться, что все просто ушли в туалет — из пластиковых наушников слышна музыка.

Здесь, над погодой, только я и Боинг семьсот сорок семь четырёста — временная капсула с двумя сотнями недоеденных шоколадных десертов — и наверху бар с пианино, куда я могу подняться по лестнице — смешать себе ещё выпить.

Боже упаси, я не буду утомлять вас подробностями, но я здесь на автопилоте, пока не закончится топливо — пилот сказал, что это называется «выгорание» — он сказал, один за другим двигатели выгорят, — он хотел, чтобы я знал, чего ожидать.

Потом он надоедал всякими подробностями про реактивные двигатели — эффект Вентури — набор высоты закрылками — и как все двигатели выгорят и самолёт превратится в планёр на двести тонн — а потом, раз автопилот будет вести его по прямой, планёр начнёт то, что пилот назвал «контролируемым снижением».

А я сказал, что *снижение* — это неплохо для разнообразия.

Вы не знаете, через что я прошёл за этот год.

Под парашютом на пилоте была блеклая униформа — её, наверно, придумали инженеры — хотя вообще пилот был полезным — куда полезней, чем был бы я, если бы мне приставили пистолет к голове и спросили, сколько осталось топлива и далеко ли мы на нём улетим.

Он рассказал мне, как снова поднять самолёт на высоту, когда он прыгнет в океан, и он рассказал мне про бортовой самописец.

[†] Бефстроганов — блюдо из мелко нарезанных кусочков мяса в густой томатно-сметанной подливке.

Четыре двигателя пронумерованы слева направо от первого до четвёртого.

Последней частью контролируемого снижения будет пикé в землю — пилот сказал, это называется «конечной фазой снижения» — ты двигаешься со скоростью тридцать два фута[†] в секунду прямо к земле — это называется «конечной скоростью» — все объекты одинаковой массы двигаются с одной скоростью — а закончил он ньютоновой физикой и Пизанской башней.

Он сказал: «Только не цитируй меня, а то я давно не сдавал экзамены».

Он сказал, что «вспомогательный источник питания» будет вырабатывать электричество, пока самолёт не ударится об землю — он сказал, что кондиционированный воздух и стереомузыка будут, пока я буду что-нибудь чувствовать.

А я сказал ему, что последний раз что-нибудь чувствовал давным-давно — с год назад — и сейчас главное выпроводить его из самолёта — и, наконец, опустить пистолет.

Я так долго сжимал пистолет, что уже ничего не чувствую.

Когда планируешь угон самолёта в одиночку, забываешь подумать, что придётся отвлечься от заложников, чтобы сходить в туалет.

Перед тем, как мы приземлились в Порте Вила, я бегал по самолёту с пистолетом, пытаюсь накормить пассажиров и экипаж — ещё налить? — кому подушку? — я спрашивал, что они предпочитают — цыплёнка или говядину? — с кофеином или без?

Обслуживание — это единственное, что я умею. Проблема только, что бегать туда-сюда и обслуживать приходится *одной* рукой, ведь во второй нужно держать пистолет.

Когда мы приземлились, и пассажиры и экипаж высаживались, я стоял в дверях кабины и говорил: прошу прощения — приношу извинения за любые неудобства — безопасного и приятного путешествия — спасибо, что летаете самолётами каких-то там авиалиний.

Когда на борту остались только мы с пилотом, мы снова взлетели.

[†] Фут — единица длины в различных странах, равняется 0,3048 метра.

Перед тем, как прыгнуть, пилот сказал мне, что когда отключаются двигатели, звучит сигнал тревоги — возгорание в двигателе номер один, или три, или каком там — снова и снова.

Когда все двигатели закончатся, лететь можно будет только удерживая нос самолёта кверху — просто тянешь за руль — он сказал, это называется «штурвал» — чтобы двигать то, что называется «элеваторы», на хвосте — тогда теряешь скорость, но сохраняешь высоту.

Вроде бы *есть* выбор — скорость или высота — но в конце всё равно летишь носом в землю.

А я сказал ему, короче, я не собираюсь получать то, что называется «лицензией пилота» — мне нужно спокойно сходить в туалет — мне нужно, чтобы он вышел через эту дверь.

Потом мы затормозили до 175 узлов[†] — не буду утомлять вас деталями, но мы опустились ниже 10 000 футов и открыли переднюю дверь кабины — и потом пилот ушёл — и перед тем как закрыть дверь кабины, я стал в проёме и отлил ему вслед.

В жизни себя так хорошо не чувствовал.

Если сэр Исаак Ньютон был прав, это не будет проблемой для пилота по дороге вниз.

Так что я лечу на запад со скоростью 0,83 Маха^{††} или 455 миль[‡] в час — на этой скорости и широте солнце торчит всё время на одном месте — время остановилось — я лечу над облаками на высоте 39 000 футов над Тихим океаном — лечу навстречу Австралии — навстречу катастрофе — навстречу концу моей истории — по прямой на юго-запад — пока не выгорят все четыре двигателя.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Ещё раз, вы слушаете бортовой самописец рейса двадцать тридцать девять.

[†] Узел — единица измерения скорости, количество морских миль (1,852 км) проходимых за час.

^{††} имеется в виду число Маха, т.е. скорость звука

[‡] Миля — единица длины в различных странах, равняется 1,609 километра.

И на этой высоте — *послушайте* — и на этой скорости, в пустом самолёте, пилот сказал, останется топлива на шесть или, может, семь часов.

Так что постараюсь побыстреей.

Бортовой самописец будет записывать каждое моё слово в рубке, и моя история не разлетится на миллионы кровавых ошмётков и не сгорит с тысячами тонн горящего самолёта.

Когда самолёт разобьётся, люди найдут бортовой самописец.

И моя история *уцелеет*.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Перед тем, как пилот прыгнул — когда дверь кабины была втянута внутрь — когда военные самолёты летели за нами — невидимые радары следили за нами — в открытом дверном проёме — когда двигатели ревели и свистел ветер — пилот стоял там с парашютом и кричал: «Почему ты так хочешь умереть?»

А я крикнул, чтобы он обязательно слушал плёнку.

А он крикнул: «Тогда помни, у тебя только несколько часов». Он кричал: «И помни, ты не знаешь, *когда* закончится горючее, всегда есть шанс, что ты умрёшь прямо посреди истории своей жизни».

А я крикнул: что ещё нового?

И: скажи мне что-нибудь, чего я не знаю.

А пото́м пилот прыгнул — я отлил — пото́м снова закрыл дверь кабины — в рубке я прибавил скорость — потянул штурвал назад, пока мы не набрали высоту — осталось только нажать кнопку, и автопилот примет управление.

Вот, значит, мы и здесь.

И если вы слушаете это, неразрушимый чёрный ящик рейса двадцать тридцать девять, то вы можете пойти и посмотреть, где самолёт закончил конечное снижение.

Вы поймёте, что я не пилот, когда увидите обломки и кратер от взрыва.

И если вы слушаете это — вы знаете, что я *мёртв*.

У меня есть несколько часов, чтобы рассказать свою историю здесь, так что есть шанс, что я расскажу её правильно.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Небо синее и чистое во все стороны, солнце яркое и обжигающее, прямо вон там впереди — мы над облаками и этот прекрасный день вечен.

Так что давайте по порядку.

Я начну сначала.

Рейс двадцать тридцать девять, вот что произошло *на самом деле*. Слушайте.

И ещё...

Для записи: я сейчас чувствую себя просто здорово.

И...

Я уже потратил десять минут.

И...

Поехали.

46

f o u r t y s i x
с о р о к ш е с т ь

Я ЖИВУ ТАК, ЧТО ТРУДНО СЛЕПИТЬ КОТЛЕТУ.
Иногда всё по-другому, и это рыба или цыплёнок. Но когда одна моя рука в сыром яйце, а другая держит мясо, кто-то в беде звонит мне.

Почти каждую ночь теперь.

Сегодня ночью девушка звонит мне из гремящего танцклуба. Единственное слово, что я разбираю, это «позади». Она говорит «ничего». Она говорит не то «помощь», не то «сволочь».

Дело в том, что я не могу угадывать то, чего не слышу, — я на кухне, один, и кричу в трубку, чтобы меня было слышно за музыкой.

Судя по голосу, она молода и измучена, так что я спрашиваю, доверяет ли она мне.

Она устала от боли?

Я спрашиваю — если есть *только один* путь покончить с болью, сделает ли она это?

Моя золотая рыбка волнуется и плавает кругами в аквариуме на холодильнике, так что я бросаю таблетку валиума[†] ей в воду.

Я кричу девушке: с неё хватит?

Я кричу: я не собираюсь тут стоять и слушать её жалобы.

Стоять тут и пытаться наладить её жизнь — это просто время терять. Люди не хотят, чтобы их жизни налаживали. Никто не

[†] «Valium» — торговая марка транквилизатора.

хочет, чтобы *решили* его проблемы — его трагедии — его развлеченья — чтобы истории окончились — чтобы всё устроилось.

Потому что — *что им останется?*

Одна большая страшная неизвестность.

Большинство звонящих мне *знают*, чего хотят. Кто-то хочет умереть, и просто ждёт моего разрешения. Кто-то хочет умереть, и его просто нужно немного подбодрить. Лёгкий толчок.

У того, кто на грани самоубийства, не очень с чувством юмора. Одно неверное слово — и он в некрологе на следующей неделе.

Большинство звонков я слушаю в пол-уха. С большинством людей я только по тону го́лоса решаю, жить им или умереть.

Разговор с девушкой в танцклубе заходит в тупик, так что я говорю ей, *убей себя*.

Она говорит: «Что?»

Убей себя.

Она говорит: «Что?»

Попробуй снотворное с алкоголем, и голову — в целлофановый пакет.

Она говорит: «Что?»

Нельзя нормально слепить котлету одной рукой, так что я говорю ей: сейчас или никогда — или делай, или нет — я с тобой сейчас — ты не умрёшь одна — *но я не могу тратить на это всю ночь*.

То, что звучит как часть танцевального микса — это она заревела всерьёз, так что я кладу трубку.

Я леплю котлету, а они хотят, чтобы я устроил всю их жизнь.

С телефоном в одной руке, я пытаюсь достать сухари другой.

Казалось бы, что сложного — обмакиваешь котлету в сырое яйцо, потом даёшь стечь, потом сухари.

Проблема с котлетами: мне не даются сухари. В одних местах котлета голая, а в других сухарей столько, что кроме них ничего не видно.

Когда-то это было весело.

Люди звонили на грани самоубийства, звонили женщины, я здесь один с моей золотой рыбкой — один в грязной кухне — пытаюсь обвалить в сухарях свиную отбивную или что там ещё — в одних трусах слушаю чьи-то молитвы — сервирую прощение и наказание.

Позвонит парень — это произойдёт, когда я засну, ведь звонки будут всю ночь, если я не отключу телефон.

Какой-то неудачник позвонит ночью, когда закроются бары, чтобы сказать, что он сидит скрестив ноги на полу у себя дома, — он не может спать из-за ужасных кошмаров — в своих снах он видит разбивающиеся самолёты с людьми — это так реально и никто ему не поможет — он не может спать — никто ему не поможет — он говорит, что у него заряженное ружьё под подбородком, и что я должен дать ему хоть одну причину, чтобы не нажать на курок.

Он не может жить, зная будущее, и не в силах никого спасти.

Эти жертвы — они звонят. Эти хронические страдальцы — они звонят. Они развеивают мою скуку. Это лучше, чем телевизор.

Я говорю ему — вперёд. Я только наполовину проснулся, сейчас три утра, и мне завтра на работу, я говорю ему — быстрее, пока я опять не заснул, *жми на курок*.

Я говорю ему, этот мир не стоит того, чтобы оставаться в нём и страдать, этот мир вообще немногого стоит.

Моя основная работа — это убирать в доме.

Полный день — слуга. На полставки — бог.

Опыт подсказывает мне убрать телефон от уха, когда я слышу тихий щелчок курка — взрыв — шум — где-то трубка падает на пол — я последний, кто с ним говорил — и я засыпаю быстрее, чем у меня перестаёт звенеть в ушах.

Надо посмотреть некролог на той неделе, шесть дюймов[†] колонки ни о чём важном. Нужен некролог, иначе я не уверен, было это или просто приснилось.

Я не жду, что вы поймёте.

[†] Дюйм — единица длины в британской системе мер, равняется 2,54 сантиметра.

Это особый вид развлечения. Это возбуждает — обладать властью. Парня с ружьём зовут Тревор Холлис в его некрологе, и узнать, что он был реальным человеком, было здорово.

Это убийство — или нет — смотря, сколько я на себя возьму — ведь я даже не могу сказать, что вмешаться в это было моей идеей.

А правда в том, что это ужасный мир, и я прекратил его страдания.

Идея пришла случайно.

В газете было объявление о настоящем телефоне доверия — телефонный номер в газете по ошибке был мой — просто опечатка — никто не читал поправку, которая была на следующий день — люди просто начали звонить мне днём и ночью со своими проблемами.

Пожалуйста, не думайте, что я здесь, чтобы спасти жизни.

Быть или не быть — я не колеблюсь.

И не думайте, что я не говорю так с женщинами — с ранними женщинами — эмоционально неустойчивыми.

Однажды меня чуть не нанял «McDonald's», а я просто поступал на работу, чтобы встретиться с молодыми девушками — чёрными девушками — испанскими — белыми — китаянками — там даже на бланке написано, что «McDonald's» нанимает все расы и национальности — это девушки — девушки — девушки — симпатичные.

Ещё на бланке написано, что если у вас есть одно из следующих заболеваний — гепатит А, сальмонеллёз, бактериальная дизентерия, стафилококковая инфекция, лямблиоз или кампилобактериоз — вы не должны работать там.

Это надёжнее, чем встретить девушку на улице — нельзя быть слишком осторожным — по крайней мере, в «McDonald's» у неё есть справка, что она *здоровая*.

Плюс очень большой шанс, что она молодая — прыщавая и молодая — хихикающая и молодая — глупая молодая — такая же тупая, как я.

Восемнадцати — девятнадцати — двадцатилетние девушки — я хочу только поговорить с ними — студентки колледжа — выпускницы — эмансипированные малолетки.

То же и с этими девушками-самоубийцами, звонящими мне. Большинство из них так молоды. Плачут с мокрыми волосами в телефоне-автомате. Они звонят мне за спасением.

Скрутившись в кровати целый день, они звонят мне. Мессия. Они взывают ко мне. Спаситель. Они шморгают носом, и задыхаются от слёз, и рассказывают мне всё, что я попрошу — в подробностях.

Так здорово иногда ночью слушать их, в темноте — девушек, которые просто верят мне.

С телефоном в одной руке, я могу представить, что моя вторая рука — это *она*.

Не то, чтобы я хотел жениться — я восхищаюсь парнями, которые могут решиться на татуировку.

Когда в газете исправили номер, звонки начали иссякать — те люди, которые звонили мне поначалу, были мертвы — или злились на меня — новые люди не звонили — меня не взяли в «McDonald's» — так что я сделал пачку больших объявлений.

Объявления должны были выделяться. Вам нужны объявления, которые легко прочитать ночью — кому-то плачущему — под наркотиками — пьяному.

Объявления, которые использовал я, были чёрным по белому с большими буквами:

«Дай своей жизни ещё один шанс, позвони за помощью», — и мой номер телефона.

Моим вторым вариантом было:

«Если ты сексуально безответственная девушка с алкогольной зависимостью, получи помощь, в которой нуждаешься, позвони», — и мой номер телефона.

Поверьте мне на слово, *не нужно* делать объявления вроде второго, потому что с таким объявлением кто-нибудь из полиции нанесёт вам визит.

По телефонному номеру они найдут вас и занесут в список потенциальных преступников — и потом всегда вы будете слышать тихий щёлк — щёлк — щёлк подслушивающего устройства — каждый раз, когда будете звонить по телефону.

Поверьте мне на слово.

Если вы используете объявления вроде первого — получите людей, звонящих, чтобы исповедаться в грехах — пожаловаться — спросить совета — получить поддержку.

Девушки, с которыми вы встретитесь, живут хуже некуда.

Гарем женщин на грани будет хватать телефоны и просить вас перезвонить — пожалуйста, перезвони, — пожалуйста.

Назовите меня сексуальным хищником, но когда я думаю о хищниках, я думаю о львах — тиграх — больших кошках — акулах.

А это не отношения хищника и жертвы — это не гриф — не стервятник — не хохочущая гиена над скелетом — это не паразит и носитель.

Мы оба достойны жалости.

Это преступление без жертвы[†] наоборот.

Самое главное — это наклеить объявления в телефонах-автоматах — попробуйте внутри грязных телефонных будок около мостов над глубокими реками — наклейте их рядом с барами, откуда людей, которым некуда пойти, выгоняют, когда пора закрываться.

Вы сразу окажетесь в деле.

Вам понадобится телефон с громкой связью, где вы будете звучать как из подвала — люди в кризисе будут звонить вам и слушать, как вы спускаете воду в унитазе — они будут слышать шум миксера и понимать, что вам на них вообще наплевать.

Что мне нужно было в те дни, так это беспроводной телефон, крепящийся на голове — такой себе плейер человеческих страданий — жить или умереть — секс или смерть — так вы сможете со свободными руками принимать решения о жизни и смерти, когда люди звонят, чтобы рассказать о своём ужасном преступлении.

Вы отпускаете грехи.

Вы осуждаете.

[†] Термин «преступление без жертвы» используется в США по отношению к азартным играм, наркомании и т.д. — нарушениям закона или морали, совершаемым добровольно и причиняющим ущерб, в первую очередь, самому нарушителю.

Вы даёте парням на грани телефоны девушек в таком же положении.

Как во всех молитвах, в основном вы слышите жалобы и требования.

Спаси меня. Услышь меня. Направь меня. Прости меня.

Телефон уже опять звонит.

Для меня невозможно добиться ровного тонкого слоя сухарей на котлете, а в телефоне плачет новая девушка.

Я сразу спрашиваю, доверяет ли она мне.

Я спрашиваю, расскажет ли она мне всё.

Моя рыбка и я, мы плывём к одному и тому же.

Котлета выглядит, как будто её выгребли из кошачьего туалета.

Чтобы успокоить эту девушку и заставить её слушать, я рассказываю ей историю о моей золотой рыбке — это рыбка номер шестьсот сорок один — мои родители купили мне первую, чтобы научить любви и заботе о каждом дышащем творении Господа.

Шестьсот сорок рыбок спустя я знаю только: всё, что вы любите, умрёт.

Как только вы встречаете кого-то особого, то можете рассчитывать, что в один прекрасный день он будет мёртв, в земле.

45

fourty five
сорок пять

В НОЧЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК Я ПОКИНУЛ ДОМ, МОЙ СТАРШИЙ брат рассказал мне всё, что он знал о мире вокруг.

«В мире вокруг», — сказал он, — «женщины обладают властью над цветом своих волос. И своих глаз. И своих губ».

Мы были на заднем крыльце, в свете кухонного окна.

Мой брат Адам подстригал мне волосы как косил пшеницу — набирал в пригоршни и отрезал бритвой примерно посередине — он зажал мой подбородок большим и указательным пальцами и сказал смотреть прямо на него — его карие глаза двигались туда-сюда между моими бакенбардами.

Чтобы подровнять мои бакенбарды, он подрезал с одной стороны — потом с другой — с одной — с другой — снова и снова — пока бакенбарды не закончились.

Мои семеро младших братьев сидели на крыльце, высматривая в темноте ужасы, о которых говорил Адам.

«В мире вокруг», — сказал он, — «люди держат птиц в домах». Он *видел* это.

Адам был за пределами церковного округа только один раз, когда он и его жена должны были зарегистрировать свой брак, чтобы сделать его законным перед правительством.

«В мире вокруг», — сказал он, — «людей посещают в их домах духи, которые называются "телевидение"».

«Духи говорят с людьми через то, что называется "радио"».

«Люди используют то, что называется "телефон", потому что ненавидят быть вместе, но очень боятся быть одни».

Он продолжал подстригать мои волосы — не для красоты, а так, будто подстригал дерево — вокруг нас на крыльце лежали волосы — как скошенные, а не срезанные.

В церковном округе мы носили мешки со срезанными волосами в сады, чтобы отпугнуть оленей.

Адам сказал, что правило ничего не выбрасывать попусту — это одно из благословений, от которых *нужно* отказаться, покидая церковный округ.

Важнейшее благословение, от которого ты отказываешься — это *тишина*.

«В мире вокруг», — сказал он мне, — «нет настоящей тишины. Не той тишины, когда ты зажимаешь уши так сильно, что только слышишь, как сердце бьётся, а *настоящей* тишины вокруг».

В ту неделю, когда они поженились, Адам и Послушница Глисон поехали на автобусе из церковного округа, сопровождаемые церковным старейшиной.

Всю дорогу в автобусе было шумно — автомобили на дороге ревели — люди в мире вокруг говорили глупости с каждым выдохом — а когда они молчали, их радио заполняло паузы скопированными голосами людей, поющих одни и те же песни — снова и снова.

Адам сказал, что ещё одно благословение, от которого придётся отказаться в мире вокруг — это *темнота*.

Вы можете закрыть глаза и залезть в шкаф, но это не то же самое.

Темнота ночью в церковном округе *настоящая* — в темноте над нами — огромные звёзды — и можно увидеть, как на Луне выпирают горы, как она изрезана реками, её океаны.

В ночь без Луны и звёзд ничего нельзя увидеть, но можно представить.

По крайней мере, так я помню.

Моя мать была на кухне, гладила и складывала одежду, которую мне разрешили взять с собой.

Мой отец был не знаю где.

Я больше никогда их не видел.

Странно, но люди вечно спрашивают меня, плакала ли она — они спрашивают, плакал ли мой отец, и обнимал ли он меня перед тем, как я ушёл.

И люди всегда удивляются, когда я говорю — нет, никто не плакал и не обнимался.

Ведь никто не плакал и не обнимался, когда мы продавали свинью.

Никто не плакал и не обнимался перед тем, как зарезать цыплёнка или сорвать яблоко.

Никто не лежал без сна ночью, думая, счастлива ли пшеница, которую он вырастил, и рада ли тому, что станет хлебом.

Просто мой брат подстригал мне волосы.

Просто моя мать закончила гладить и села шить — она была беременна, я помню, она всегда была беременна — а мои сёстры сидели вокруг неё, расправив юбки на скамейках или на полу, и все шили.

Люди вечно спрашивают, боялся ли я, волновался, или что.

Согласно церковной доктрине, только первый сын, Адам, мог жениться и состариться в церковном округе.

Когда остальным нам исполнялось семнадцать, я и мои семеро братьев и пять сестёр должны были отправляться работать.

Мой отец живёт здесь потому, что он — первый сын в своей семье.

Моя мать живёт здесь потому, что церковные старейшины выбрали её для моего отца.

Люди всегда разочаровываются, когда я говорю им правду — что никого из нас не угнетали — никто не возмущался церковью — мы просто жили — и никто из нас не страдал — сильно.

Такова была истинная глубина нашей веры — назовите её глубокой или мелкой — ничто не страшило нас — так веровали люди, выросшие в церковном округе — что бы ни случилось с миром, на всё была воля Божья.

Работа должна быть выполнена — плач или радость только мешали быть полезным — любая эмоция была отклонением — а принимать или отрицать что-либо было особенной глупостью — роскошью.

Таково было определение нашей веры.

Ничто не известно — всё ожидаемо.

«В мире вокруг», — сказал Адам, — «заключили сделку с дьяволом, который движет автомобили и носит самолёты по небу. Зло течёт по электрическим проводам, чтобы сделать людей ленивыми. Люди ставят тарелки в шкаф грязными, а шкаф их моет. Вода в трубах уносит их грязь и мусор, чтобы это было не их проблемой».

Адам зажал мой подбородок большим и указательным пальцами, и наклонился, чтобы посмотреть мне прямо в глаза.

И сказал, что люди в мире вокруг *смотрятся в зеркал*а.

Прямо рядом с ним в автобусе, сказал он, у людей были *зеркала*, и все были заняты тем, что смотрели, как они выглядят — какой стыд!

Я помню, это была моя последняя стрижка на долгое долгое время.

Но я правда не помню, почему моя голова стала колючим полем, на котором остались короткие волоски.

«В мире вокруг», — сказал Адам, — «все считают *машинь*».

«Всю еду людям скармливают *официанты*».

В тот единственный раз, когда он покидал колонию, мой брат и его жена и церковный старейшина, который сопровождал их, остались на ночь в отеле в центре Робинсвилля, штат Небраска — никто из них не спал — а на следующий день автобус привёз их домой до конца их дней.

«Отель», — сказал он мне, — «это большой дом, где много людей живёт, ест и спит, и никто никого не знает». Он сказал, что описал большинство семей в мире вокруг.

«Церкви в мире вокруг», — сказал мне мой брат, — «это магазины, которые продают людям ложь, изготовленную на далёких заводах огромных религий».

Он ещё говорил, но я не помню.

Эта стрижка была шестнадцать лет назад.

Мой отец родил Адама и меня и четырнадцать остальных детей, когда ему было столько, сколько мне сейчас.

Мне было семнадцать в ночь перед тем, как я покинул дом.

Когда я последний раз его видел, мой отец выглядел как я сейчас.

Смотреть на Адама так же хорошо, как в зеркало: он был моим старшим братом, старше на три минуты и тридцать секунд.

Но в церковном округе Правоверных *не было* такой вещи, как близнецы.

В последнюю ночь, когда я видел Адама Брэнсона, я, помню, думал, что мой старший брат — очень добрый и мудрый человек.

Вот, какой я был глупый.

44

f o u r t y f o u r
с о р о к ч е т ы р е

ЧАСТЬ МОЕЙ РАБОТЫ — УЗНАТЬ МЕНЮ ПРАЗДНИЧНОГО ужина сегодня вечером — это значит поехать на автобусе из дóма, где я работаю, в другой большой дом — и спросить какого-то повара, *что* будут подавать на стол.

Те, на кого я работаю, не любят сюрпризов, так что часть моей работы — заранее предупредить своих работодателей, если сегодня вечером им придётся есть что-то трудное, как ома-ры или артишоки — и если в меню есть что-то опасное, я должен научить их, как есть это *правильно*.

Вот, чем я зарабатываю на жизнь.

Дом, где я убираю, мужчина и женщина, которые здесь живут, никогда не показываются — такая у них работа.

Всё, что я знаю о них — из того, что я убираю — всё, что я могу понять — из того, что я подбираю за ними — я навожу порядок за них — день за днём.

Я перематываю их видеокассеты.

«Все услуги анального эскорта».

«Гигантские гру́ди Леты Уэпонс[†]».

«Приключения грешной Золушки^{††}».

[†] Имеется в виду порнозвезда Letha Weapons (имя созвучно с «lethal weapon» — «смертельное оружие»).

^{††} В оригинале — миспеллинг (неправильное написание) «Sinderella», обыгрываются имя «Cinderella» (Золушка) и слово «sin» (грех).

Когда я еду на автобусе сюда, люди, на которых я работаю, едут на работу в центр города — а когда они едут назад, я возвращаюсь домой — в центр — в маленькую квартирку, которая была просто номером отеля, пока кто-то не установил плиту и холодильник, чтобы поднять плату.

Ванная всё ещё в коридоре.

Я разговариваю со своими работодателями только по громкой связи телефона — просто пластмассовая коробка на кухонном столе, кричащая на меня, чтобы я работал больше.

Иезекииль, глава девятнадцать, стих семь[†]:

«И опустела земля и все селения её от рыкания его» — и так далее, и тому подобное — нельзя держать всю Библию в голове, не хватит места, чтобы запомнить своё имя.

В доме, где я убираю последние шесть лет, всё именно так, как вы думаете — большой, в очень хорошем районе города, особенно по сравнению с тем, где живу я.

Все эти квартиры рядом со мной — они как тёплое сиденье унитаза — кто-то был здесь за секунду до вас — и кто-то будет здесь, как только уйдёте вы.

В той части города, куда я еду на работу каждое утро, на стенах висят картины, за входной дверью — комнаты и комнаты, в которые никто никогда не заходит — кухни, где никто не готовит — ванны, которые никогда не нужно мыть.

Деньги, которые мне оставляют, — не присвою ли я их? — не меньше пятидесятидолларовой банкноты, как будто случайно упавшей за туалетный столик.

Одежду, которую они носят, шьют модельеры.

Рядом с телефоном громкой связи толстый ежедневник, куда они записывают задания для меня.

Они хотят, чтобы у меня были задания на десять лет вперёд — у них всё в жизни становится пунктом в списке — задания, которые нужно выполнить.

Ваша жизнь становится размеренной.

[†] Тексты Еврейских Писаний (Ветхий Завет) цитируются по Синодальному переводу.

Кратчайшее расстояние между двумя точками — это линия, график, маршрут до конца жизни.

Ничто не покажет вам прямой путь к смерти так, как список.

«Я хочу посмотреть в твой план», — кричит мне телефон, — «и точно знать, где найти тебя в этот день в четыре часа через пять лет. Я хочу, чтобы ты был *настолько* точен».

Когда вы видите всё это написанным, вы всегда разочарованы в своих ожиданиях — как мало вы сделаете.

Краткое содержание вашего будущего.

Сейчас два часа дня, суббота, и если верить моему плану, я должен сварить пять омаров, чтобы они попрактиковались в их поедании — вот, *сколько* денег они зарабатывают.

Я могу поесть отбивных только если украду их и привезу домой, держа в автобусе на коленях.

Секрет приготовления омара простой: вы наполняете кастрюлю холодной водой — щепотку соли — можно использовать воду пополам с водкой — или вермутом — можно добавить морских водорослей для запаха.

Этому учат в курсе домашнего хозяйства.

Остальное я знаю по следам, которые оставляют эти люди.

Спросите меня, *как удалить пятна крови с мехового пальто.*

Ну давайте.

Спросите меня.

Секрет простой: кукурузная мука, и почистить щёткой против шерсти.

И ещё *надо держать рот закрытым.*

Чтобы удалить пятна крови с клавиш рояля, вы полируете их тальком или сухим молоком.

Это не самое важное умение, но чтобы удалить пятна крови на обоях, нужна паста из кукурузного крахмала и холодной воды, это поможет также удалить кровь с матраса или кушетки.

И ещё *надо забыть, как быстро* это происходит.

Самоубийства. Несчастные случаи. Преступления на почве страсти.

Сосредоточьтесь на пятне, пока оно не будет удалено из вашей памяти.

Повторение — мать учения.

Если это так называется.

Не думайте о том, что ваш главный талант — сокрытие правды — божий дар свершения страшного греха — ваше призвание — истинный дар отрицания — благословение.

Если это так называется.

Даже после шестнадцати лет уборки в чужих домах мне хочется думать, что мир становится лучше.

А на самом деле — *нет*.

Вы хотите, чтобы люди становились лучше, а они *не будут*.

И тогда хочется думать, что вы *хоть что-то* можете сделать.

Я убираю в домах, и лучше становится только моё искусство отрицания всего, что не так.

Боже упаси меня лично встретиться с людьми, на которых я работаю.

Не подумайте, что мне не нравятся мои работодатели — моя психолог и не такое обо мне думала — я не чувствую к ним ненависти — я не люблю их, но и не ненавижу — ведь я работал и на гораздо худших.

Просто спросите, как удалить пятна мочи со штор и скатерти.

Спросите меня, как побыстрее спрятать пулевые отверстия в стене комнаты.

Секрет простой: зубная паста, а для крупного калибра — крахмал с солью пополам.

Зовите меня Голосом Опыта.

Думаю, пяти омаров им хватит, чтобы научиться хитростям по вскрытию спинок — я хочу сказать, щитков.

Внутри — мозг или сердце, которые вам и нужны.

Секрет простой: нужно погрузить омаров в воду и поставить на огонь — и ещё нужно всё делать медленно — по край-

ней мере тридцать минут вода должна доходить до кипения — тогда омары должны умереть безболезненно.

Если верить плану, я занят полировкой меди половинкой лимона, которую обмакнул в соль.

Омары, на которых мы будем тренироваться, называются «гигантами», поскольку весят около трёх фунтов[†] каждый.

Омары легче фунта называются «цыплятами».

Омары без одной клешни называются мусором.

Те, которых я достаю из холодильника, обёрнутые во влажные водоросли, будут закипать около получаса.

Этому тоже учат в курсе домашнего хозяйства.

Большая из двух передних клешней, с чем-то вроде зубов, называется «дробящей» — меньшая, с резцами, называется «режущей» — небольшие ноги по бокам называются «ходильными ногами» — в нижней части хвоста пять рядов маленьких «плавничков».

Ещё про курс домашнего хозяйства.

Если передний ряд «плавничков» мягкий и перистый, то омар — это она, а если передний ряд твёрдый и грубый, то омар — это он.

Если омар — она, то ищите среди костей пустоту в форме сердца, между двумя задними «ходильными ногами» — здесь омар-самка носит живую сперму, если за последние два года занималась сексом.

Телефон звонит, пока я укладываю омаров, — три самца, две самки, без спермы, — в кастрюлю на плите.

Телефон звонит, пока я включаю огонь.

Телефон звонит, пока я мою руки.

Телефон звонит, пока я делаю себе чашечку кофе, добавляю сливки и сахар.

Телефон звонит, пока я беру немного водорослей из пакета с омарами и бросаю поверх омаров в кастрюлю.

[†] Фунт — единица массы в различных странах; английский торговый фунт равен 0,4536 кг.

Один из омаров поднимает «дробящую» клешню, моля отсрочить казнь — «дробящие» и «режущие» клешни стянуты резиновыми лентами.

Телефон звонит, пока я снова мою и вытираю руки.

Телефон звонит, и я отвечаю.

Дом Гастонов, говорю я.

«Резиденция Гастонов!» — кричит мне громкая связь. — «Скажи: "резиденция Гастонов"! Скажи так, как мы тебя учили!»

В курсе домашнего хозяйства нас учили, что дом следует называть «резиденцией» только в письменной или печатной форме, мы сто раз это проходили.

Я отпиваю немного кофе и регулирую газ под омарами. Громкая связь кричит: «Где ты? Алло? Нас разъединили?»

Люди, на которых я работаю, однажды оказались единственными гостями, которые не знали, как обращаться с салфеточкой к чаше для ополаскивания пальцев, и с тех пор они пристрастились к изучению этикета.

Они всё ещё считают, что это бессмысленно и бесполезно, но боятся не знать какой-то мелкой детали ритуала.

Громкая связь продолжает кричать: «Отвечай! Чёрт! Расскажи о сегодняшнем вечере! Какая там будет еда? Мы весь день места себе не находим!»

Я ищу в шкафу над плитой инструменты для омаров: щипцы, заострённые палочки, салфетку на грудь.

Благодаря моим урокам, эти люди знают все три правильных способа положить десертную ложку.

Это благодаря мне они могут пить чай со льдом правильно, с длинной ложкой в стакане — это сложно, но вы должны держать ручку ложки между указательным и средним пальцем, у дальнего края стакана.

И ещё надо не выколоть ею себе глаз.

А некоторые люди достают мокрую ложку и ищут, куда бы её положить, чтобы не испачкать скатерть, или чего хуже, кладут её куда попало и оставляют мокрое чайное пятно.

Когда громкая связь замолкает, *только тогда* начинаю я.

Я спрашиваю телефон: вы слушаете?

Я говорю телефону: представьте себе тарелку.

Сегодня вечером суфле со шпинатом будет на тарелке справа вверх — блюдо из свёклы будет справа вниз — мясо с толчёным миндалём будет на второй половине тарелки, слева — его нужно есть ножом — и в мясе будут кости.

Это лучшая работа, которая у меня была — ни детей, ни кошек, ни полов, которые нужно натирать воском, — так что я не хочу её потерять — а если бы мне было всё равно, я бы советовал любые глупости, которые мне придут в голову.

Например: есть шербет следует, слизывая языком с тарелки как собака.

Или: возьмите баранью отбивную в зубы и яростно трясите головой из стороны в сторону.

Самое ужасное, что они наверняка это сделали бы.

Это потому, что я никогда их не подводил.

Они *доверяют* мне.

Кроме обучения этикету, самое трудное — это жить, оправдывая их ожидания.

Спросите меня, как скрыть проколы в ночных рубашках, смокингах и шляпах.

Секрет прост: немного прозрачного лака для ногтей с изнаночной стороны.

Вас не научат всему в курсе домашнего хозяйства, но со временем, вы всему научитесь сами.

В церковном округе, где я вырос, нас учили делать свечи, которые не текут, вымачивая их в солёной воде, и хранить свечи в холодильнике, пока они не потребуются.

Они думали, что это *полезные* советы.

Зажигать свечи при помощи сухой палочки спагетти.

Шестнадцать лет я убираю дома людей, и никто никогда не просил меня бегать с горячей спагеттиной в руке.

Не важно, чему учат в курсе домашнего хозяйства, это не главное в мире вокруг.

Например, никто не учит вас, что зеленоватый увлажняющий крем для кожи поможет скрыть покраснение от удара.

И любой джентльмен, получавший пощёчину наотмашь от леди с бриллиантовым кольцом, должен знать о кровоостанавливающем карандаше.

Глубокую рану можно смазать суперклеем, а потом спокойно фотографироваться на премьере фильма, улыбаться, без следов и шрамов.

Всегда держите под рукой красную тряпку для вытирания крови, и не нужно будет удалять пятна с неё.

Если верить плану, я затачиваю нож для мяса.

Я продолжаю рассказывать, чего им ожидать сегодня вечером.

Главное — без паники.

Да, будут омары, с которыми им придётся управляться.

На столе будет одна солонка — сюрприз будет подан после жаркого — сюрпризом будет сквоб[†] — это такая птица — и если есть что-то сложнее поедания омаров, то это сквоб — маленькие косточки, которые нужно будет вынимать, как следует принарядившись.

Новое вино после аперитива — шерри за супом — белое вино с омарами — красное для жаркого — ещё красное при жирном испытании сквобом — к этому времени на столе появятся острова и архипелаги рассыпанных приправ, разлитых соусов и пятен винá на скатерти.

Вот такая вот работа.

Даже в лучших домах никто знать не хочет, где должен сидеть почётный гость.

Изысканные ужины, о которых рассказывают в курсе домашнего хозяйства, время для свежих цветов и чашечки кофе после прекрасного дня размеренной и уравновешенной жизни — до жопы это всем.

[†] Сквоб (откормленный голубёнок) — молодой голубь, весом от 300 до 500 грамм при продаже; мясо домашних голубей, разводимых для стола, имеет более бледный цвет и более приятный вкус, чем у диких голубей.

Сегодня вечером — после супа — до жаркого — все присутствующие за столом будут издеваться над мёртвыми омарами — тридцать четыре кита индустрии — тридцать четыре успешных чудовища — тридцать четыре знатных дикаря в чёрных галстуках — будут делать вид, что умеют есть.

После омара официанты принесут чаши с горячей водой для ополаскивания пальцев, с плавающими в них дольками лимона — и тридцать четыре неумело вскрытых трупа вместе с чесноком и маслом окажутся на локтях чьих-то рубашек, когда улыбающиеся жирные лица будут высасывать мясо из впадин в грудных клетках.

После семнадцати[†] лет работы в чьих-то домах каждый день, больше всего я знаю о избитых лицах, кукурузе со сливками, подбитых глазах, вывихнутых плечах, яйцах всмятку, ушибленных голенях, поцарапанных глазах, шинкованном луке, укусах всех видов, никотиновых пятнах, сексуальных смазках, выбитых зубах, разбитых губах, взбитых сливках, сломанных руках, разрывах влагиалища, жареной ветчине с пряностями, сигаретных ожогах, нарезанных ананасах, грыжах, прерванных беременностях, пятнах от животных, мелко нарезанных кокосах, выдавленных глазах, потянутых связках и следах от растяжений.

Когда женщины, на которых ты работаешь, часами плачут, нужно использовать синий или фиолетовый карандаш для глаз, чтобы покрасневшие глаза казались белее.

Когда в следующий раз кто-нибудь выбьет зуб её мужу, нужно сохранить зуб в стакане с молоком до визита к дантисту — а пока нужно сделать белую пасту из оксида цинка и гвоздичного масла, промыть дырку в десне и замазать её пастой, которая быстро затвердеет.

Со следами слёз на подушке нужно сделать то же, что и со следами пота — растворить пять таблеток аспирина в воде и тереть пятно, пока не удалишь.

Даже если есть следы от туши, проблема будет решена.

Если это называется решением.

Когда удаляешь пятна — чистишь рыбу — убираешь в доме — хочется думать, что ты делаешь мир лучше.

[†] Сохранено в соответствии с оригиналом.

А на самом деле всё становится только хуже.

Кажется, что если работать усерднее, быстрее, можно сдержать хаос.

А потом ты меняешь лампочку с пятилетней гарантией во внутреннем дворике, и понимаешь, что тебе осталось поменять её раз десять, пока не умрёшь.

Время уходит.

Уже нет столько сил, сколько раньше.

Ты становишься медленнее.

Начинаешь сдавать.

В этом году у меня появились волосы на спине, а нос продолжает расти, и моё лицо по утрам всё больше напоминает свиное рыло.

После работы в богатых домах я знаю, что лучший способ удалить пятна крови из багажника машины — это *не задавать вопросов*.

Громкая связь говорит: «Алло?»

Лучший способ сохранить хорошую работу — это *делать то, что они хотят*.

Громкая связь говорит: «Алло?»

Чтобы удалить пятна губной помады с воротника, нужно втереть немного белого уксуса.

Для трудных белковых пятен, как сперма, нужно намочить пятно холодной солёной водой, а потом просто постирать.

Это ценный опыт практической работы, можете записывать.

Чтобы собрать осколки стекла разбитого окна в спальне или брошенного бокала, чтобы собрать самые мелкие кусочки, нужен ломоть хлеба.

Остановите меня, если вы всё это уже знаете.

Громкая связь говорит: «Алло?»

Я был там. Я делал это.

В курсе домашнего хозяйства учат, как правильно отвечать на приглашение на свадьбу — как обращаться к старейшинам

церкви — как правильно гравировать серебро — в церковной школе учат, что мир может быть совершенной элегантной пьесой изящных манер, где ты — режиссёр — учителя рисуют картины торжественных ужинов, где все *уже* знают, как есть омаров.

А это не так.

И тогда всё, что ты можешь сделать — это забыть в маленьких мелочах каждодневных дел, делать одно и то же снова и снова.

Камин, который нужно почистить.

Газон, который нужно постричь.

Перевернуть бутылки в винном погребе.

Газон, который нужно постричь. Снова.

Серебро, которое нужно отполировать.

Повторить.

И всё же снова я пытаюсь доказать, что знаю лучше — я могу ещё кое-что, кроме как скрывать правду — мир может быть лучше, чем мы думаем — всё что нужно — это спросить.

Ну же, *давайте. Спросите* меня.

Как нужно есть артишоки?

Как нужно есть спаржу?

Спросите меня.

Как нужно есть омара.

Омары в кастрюле выглядят достаточно мёртвыми, так что я достаю одного.

Я говорю телефону, сначала отломайте обе большие передние клешни.

Остальных омаров я кладу в холодильник, чтобы они потренировались их разделывать.

Я говорю телефону, записывайте.

Я отламываю клешни и съедаю мясо внутри.

Потом сгибайте омара, пока хвост не отломится от тела, отделите кончик хвоста, который называется «тельсон», и используйте вилку для морепродуктов, чтобы достать мясо из хвоста.

Удалите кишку, которая идёт вдоль хвоста — если она прозрачная, омар давно ничего не ел, а толстая тёмная кишка будет полна экскрементов.

Я ем мясо из хвоста.

Вилка для морепродуктов, с полным ртом говорю я телефону, это маленькая вилочка с тремя зубцами.

Потом отделяете спинной панцирь, щитки, от тела, и едите зелёную пищеварительную железу, которая называется «томалли» — едите кровь, насыщенную медью, которая превратилась в белое желе — едите кораллового цвета незрелые яйца.

Я съедаю всё это.

У омаров то, что называется «открытой кровеносной системой», когда кровь плещется внутри пустых пространств, омывая разные органы.

Лёгкие — твёрдые и губчатые, но их можно есть, говорю я телефону, и облизываю пальцы.

Желудок — это тугой комок чего-то похожего на зубы, позади головы — желудок есть не нужно.

Я копаюсь в теле — я высасываю немного мяса из каждой «ходильной» ноги — я откусываю маленькие жабры — я пропускаю мозг.

Я останавливаюсь.

То, что я вижу, невозможно.

Громкая связь кричит: «Ну, теперь что? Это всё? Что ещё осталось съесть?»

Это невозможно, потому что если верить плану, то уже почти три часа — я во дворе и вскапываю сад — в четыре я аранжирую клумбы — в пять тридцать я вырву шалфей и заменю его голландским ирисом, розами, львиным зевом, папоротником, травяной подстилкой.

Громкая связь кричит: «Что там происходит? Отвечай! Что не так?»

Я смотрю в план и вижу, что я счастлив и от меня есть польза — я тяжело тружусь — всё в порядке, если расписано на бумаге — я выполняю работу.

Громкая связь кричит: «Что делать дальше?»

Сегодня такой день, когда солнце старается тебя сжечь.

Громкая связь кричит: «Что ещё осталось сделать?»

Я не обращаю внимания на телефон, потому что делать больше нечего. Ничего не осталось.

Может быть, это просто игра света, но я почти доел омара, когда заметил, что его сердце бьётся.

43

f o u r t y t h r e e
с о р о к т р и е

Е СЛИ ВЕРИТЬ ПЛАНУ, Я СТАРАЮСЬ УДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ. Я наверху лестницы с полными руками искусственных цветов: роз, маргариток, дельфиниумов — вперемешку — я стараюсь не упасть — ноги скрючены в туфлях — я собираю ещё один полиэстеровый букет — некрологи за прошлую неделю лежат в кармане моей рубашки.

Человек, которого я убил на прошлой неделе, где-то здесь — то, что от него осталось — тот, с ружьём у подбородка — сидящий один в пустой квартире — просящий у меня хоть одну причину не нажимать на курок — я почти уверен, что найду его.

Тревор Холлис.

Ушёл, но не забыт. Да покоится в мире. Призван из этой жизни.

Или он найдёт меня — вот, на что я надеюсь.

Наверху лестницы — я в двадцати — двадцати пяти — тридцати футах над полом галереи — я притворяюсь, что описываю ещё один искусственный цветок — с очками на кончике носа ручкой вписываю слова в блокнот.

«Образец номер семьсот восемьдесят шесть», — пишу я, — «красная роза, возраст около ста лет».

Я надеюсь, что все остальные здесь мертвы.

Часть моей работы — это аранжировать свежие цветы вокруг дома, где я работаю — я должен приносить цветы из сада, за которым должен ухаживать.

Вы должны понять, что я не вор.

«Лепестки и чашечка (чашелистики) розы сделаны из красного целлулоида. Созданный в тыща восемьсот шестьдесят третьем году, целлулоид является старейшим и наименее стойким видом пластика». Я пишу в записной книжке: «Листья розы сделаны из зелёного целлулоида».

Я останавливаюсь и смотрю поверх очков.

Внизу — в конце галереи — так далеко — она только маленький чёрный силуэт неизвестно кого — на фоне огромного витража — витраж изображает неизвестно что — Содом — Иерихон — Храм Соломона в огне Ветхого Завета — тихий и великолепный — языки оранжевого и красного пламени вокруг падающих камней — колонн — фриз — и из этого выходит фигура в маленьком чёрном платье — всё ближе и всё больше.

Я надеюсь, что она мертва.

Моё тайное желание сейчас — интрижка с мёртвой — с мёртвой девушкой — с любой мёртвой девушкой — я не тот, кого называют «переборчивым».

Я вру людям, что изучаю развитие искусственных цветов во время промышленной революции — это должно быть моим материалом для курса «Четыреста пятьдесят шесть: Природа и дизайн» — а старый я потому, что заочник.

У девушки длинные рыжие волосы — сейчас такие носят только верующие — с высоты лестницы маленькие тонкие ручки и ножки заставляют меня смотреть на них, и думать, а не стану ли я, в конце концов, педофилом.

Хотя и не старейший образец в моём исследовании, эта роза, которую я вроде изучаю, самый хрупкий образец.

Женские половые органы, «пестик», включая «рыльце», «столбик» и «завязь» — мужские половые органы, «тычинки», включая проволочную «нить», с крошечным стеклянным «пыльником» на конце.

Часть моей работы — это выращивать свежие цветы в саду.

Но я не смогу вырастить даже сорняк.

Я вру себе, что я здесь, чтобы собирать цветы — свежие цветы для дома — а я ворую искусственные цветы, чтобы воткнуть их в сад.

Люди, на которых я работаю, видят свой сад только из дóма — так что я утыкал голую землю искусственной зеленью, папоротником и плющом — и теперь втыкаю цветы по времени гóда — выглядит чудесно, если не смотреть вблизи.

Цветы выглядят такими естественными.

Совсем настоящими.

Спокойными.

Лучшее место, чтобы найти луковицы цветов — это свалка позади мавзолея — выброшенные пластиковые горшки с увядшими гиацинтами и тюльпанами — тигровыми и восточными лилиями — гиацинтами и крокусами, которые можно принести домой и вернуть к жизни.

«Образец номер семьсот восемьдесят шесть», — пишу я, — «найден в вазе склепа две тыщи триста восемьдесят семь, в верхнем ряду склепов, меньшая южная галерея, седьмой этаж крыла Безмятежности. Местоположение», — пишу я, — «высота около тридцати футов от пола галереи, может быть причиной почти безупречного состояния этой розы, найденной в одном из старейших склепов одного из первоначальных крыльев Колумбийского мемориального мавзолея».

Потóм я ворую розу.

Что я говорю людям, которые видят меня здесь — это отдельная история.

Официальная версия, почему я здесь, — так это потому, что в мавзолее есть отличные экземпляры искусственных цветов, аж до середины девятнадцатого века.

Каждое из шести главных крыльев — крыло Безмятежности — крыло Упокоения — Вечности — Спокойствия — Гармонии — Новой надежды — бетонный улей склепов со стенами в девять футов толщиной — от пяти до восемнадцати этажей в высоту — так что в них поместится даже самый длинный гроб — целые мили галерей не проветриваются — посетители приходят редко, и обычно ненадолго — здесь круглый год холодно и сухо.

Старейшие образцы связаны с культурой Викторианского языка цветов, в соответствии с классическим трактатом тыща восемьсот сорокового года мадам де ла Тур «Le Langage des Fleurs»[†].

[†] (фр.) язык цветов

Пурпурные лилии означают смерть.

Белые лилии, род жасминовых, означают первую любовь.

Герань означает аристократизм.

Лютик значит — ребячество.

Поскольку большинство искусственных цветов были для украшения шляп, мавзолеей содержит лучшие экземпляры из сохранившихся.

Вот, что я говорю людям.

Моя официальная версия правды.

Когда люди меня видят днём с блокнотом и ручкой, я обычно наверху лестницы — достаю букет искусственных анютиных глазок, оставленных у склепа вверху стены.

«Это для колледжа», — шепчу я им вниз, прикладывая руку ко рту. — «Я провожу исследование».

Иногда я здесь поздно ночью, когда все уйдут.

Я брожу один после полуночи и мечтаю, что как-то ночью за углом будет открытый склеп в стене и около него — мертвец — увядшая кожа на лице — одежда в пятнах, задубевшая от жидкостей, сочащихся из его тела.

Я пройду мимо мертвеца в тёмную галерею — будет тихо, не считая жужжания лампы — мигающей перед тем, как погаснуть — и оставить меня в темноте — навечно — с мёртвым монстром.

Глаза мертвеца должны быть впавшими в тёмные глазницы — и я хочу, чтобы он ковылял на ощупь, хватаясь за холодные мраморные стены, — измазывая их гниющей кровью — и чтобы кости торчали из рук наружу — рот должен быть полуоткрыт — нос прогнивший до дырки — и рубашка должна болтаться на вылезших из кожи ключицах.

Я ищу имена, знакомые по некрологам, навечно выбитые имена людей, последовавших моему совету.

Вперёд. Убей себя.

Любимый сын.

Покойся в мире.

Любящей дочери. Преданному другу.

Жми на курок.

Чистая душа.

Вот он я.

Время расплаты.

Ну же, давайте.

Придите.

Я хочу, чтобы за мной гнались кровожадные зомби.

Я хочу проходить мимо мраморной плиты, закрывающей склеп, и услышать как что-то скребётся и шуршит внутри.

По ночам я прижимаю ухо к холодному мрамору и жду.

Вот, зачем я на самом деле здесь.

«Образец номер семьсот восемьдесят шесть», — пишу я в блокноте, — «основной стебель из проволоки тридцатого калибра, покрытой зелёным хлопком. Стебли листьев из проволоки двадцатого калибра».

Я не чокнутый — нет — мне просто нужно какое-то доказательство, что смерть — это не *конец* — и если страшные зомби схватят меня в тёмном коридоре ночью — даже если разорвут на куски — по крайней мере, это не будет абсолютным концом — будет в этом и что-то хорошее.

Это докажет, что *есть* жизнь после смерти, и я умру счастливым.

Так что я жду.

Я смотрю.

Я прикладываю ухо к холодному склепу и пишу: «Никакой активности в склепе семь тыщ восемьсот девяносто шесть».

Я пишу: «Никакой активности в склепе семь тыщ восемьсот девяносто семь».

Я пишу: «Никакой активности в склепе семь тыщ восемьсот девяносто восемь».

Я пишу: «Образец номер сорок пять — белая бакелитовая роза. Старейший синтетический пластик, бакелит был изобретён

в тыща девятьсот седьмом году, когда химик нагрел смесь фенола и формальдегида».

В языке викторианской культуры цветов, белая роза значит тишину.

День, когда я встретил девушку, — это лучший день для изучения новых цветов — это день после уикенда Дня Поминовения[†] — когда толпы народа уходят до следующего года — когда никого нет — я впервые вижу девушку, и надеюсь, что она мертва.

В день после Дня Поминовения сторож ходит с тележкой для мусора и собирает все свежие цветы — цветы самого низкого качества, которые продавцы называют «похоронными».

Мы со сторожем встречались, но никогда не говорили.

В своём синем комбинезоне он как-то поймал меня с ухом, прижатым к склепу — я попал в круг света его фонарика — и даже тогда он старался смотреть в другую сторону.

С туфлём в руке я стучал по плите склепа: «Привет».

Азбукой Морзе я спрашивал: «Ты слышишь меня?»

Проблема с «похоронными» цветами в том, что они хорошо выглядят только один день, через день они уже гниют.

С цветами, свисающими из бронзовых ваз около склепов — тёмными и увядшими — роняющими капли вонючей воды на пол — покрывающимися плесенью — слишком легко представить, что происходит с возлюбленным внутри склепа.

Поэтому через день после Дня Поминовения сторож выбрасывает увядающие цветы.

Слева — новый букет искусственных пионов — тёмно-фиолетовых, пропитанных краской, чтобы сделать шёлк почти чёрным — в этом году пластмассовым орхидеям придают искусственный аромат.

Длинные ветви огромных бело-голубых выюнков из искусственного шёлка стоят того, чтобы украсть их.

Самые старые образцы — это цветы из шифона — органзы — бархата — вельвета — крепдешина — белых атласных лент.

[†] День поминовения (30 мая) — всеамериканский праздник чествования солдат, погибших на войне.

В моих руках кучей львиный зев — душистый горошек — шалфей — мальва — незабудки — искусственные и прекрасные, но жёсткие и царапающиеся.

В этом году на цветах — прозрачные капли полистиреновой росы.

В этом году девушка опоздала на день с непримечательным набором полиэстеровых тюльпанов и анемонов, классических викторианских цветов смерти и горя, болезни и опустошения.

С лестницы в дальнем конце западной галереи на шестом этаже крыла Упокоения, на неё смотрю я и делаю пометки в блокноте.

Цветок передо мной — это «Образец номер двести тридцать семь, послевоенная хризантема из вискозы» — послевоенная потому, что во время Второй Мировой не хватало ни вискозы, ни проволоки на цветы — цветы военного времени — это рисовая или гофрированная бумага — и даже при постоянных сухих пятидесяти градусах[†] Колумбийского мемориального мавзолея эти цветы превратились в пыль.

Напротив меня склеп номер шестьсот семьдесят восемь — Тревор Холлис — двадцать четыре — мать, отец и сестра которого пережили его.

Возлюбленный. Любящий сын. С любовью и памятью.

Моя последняя жертва.

Я нашёл его.

Склеп номер шестьсот семьдесят восемь в верхнем ряду — единственный способ добраться туда — это лестница или подъёмник для гробов — и даже с лестницы, на две ступеньки выше, чем безопасно, я вижу, что в девушке что-то не так — что-то европейское — что-то измождённое — это не рекомендованная дневная норма пищи и солнечного света, которая делает тебя красивым по североамериканским стандартам — что-то восковое в её бледных худых руках и ногах — она могла бы жить за колючей проволокой.

И внутри меня оживает отчаянная надежда, что она *может* быть мертва — это как смотреть дома старые фильмы, где вам-

[†] 50° по шкале Фаренгейта, около 10° по шкале Цельсия.

пиры и зомби восстают из могил жаждущими человеческой плоти — внутри меня та же отчаянная надежда, как когда я смотрел на голодных мертвецов и думал: ну пожалуйста, пожалуйста, *пожалуйста*.

Я хочу быть схваченным мёртвой девушкой — хочу приложить ухо к её груди и — *не услышать ничего*.

Даже если меня сожрут зомби, это значит я не просто плоть и кровь, кожа и кости.

Демон, ангел, злой дух — я хочу, чтобы что-то явило себя.

Вампир, упырь или длинноногий призрак — я хочу, чтобы меня взяли за руку.

Отсюда, с шестого ряда склепов, её чёрное платье выглядит выглаженным до блеска — её тонкие белые руки и ноги будто затянуты в новую низкосортную человеческую кожу — даже с такой высоты её лицо выглядит отштампованным.

Песнь Песней, глава семь, стих два[†]:

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бёдер твоих, как ожерелье...»

Хоть снаружи светит солнце, внутри всё на ощупь холодное — свет проходит сквозь витражи — пахнет дождём, просачивающимся в цементные стены — всё из полированного мрамора — повсюду звук — капли давнего дождя, стекающие по водостоку — капли дождя через трещины в стеклянной крыше — капли дождя внутри непроданных пустующих склепов.

В завихрениях воздуха над полом взлетают пыль, перхоть и волосы — люди думают, что это привидения.

Девушка смотрит вверх и должна видеть меня.

Она подходит, беззвучно ступая чёрными фётровыми туфлями по мраморному полу.

Здесь легко заблудиться — коридоры встречаются с коридорами под неожиданными углами — чтобы найти нужный

[†] Здесь и в некоторых других местах нумерация отличается от оригинальной. (В оригинале — Песнь Песней 7:1.) В некоторых англоязычных изданиях Библии (преимущественно сектантских) имеются отличия в нумерации глав и стихов, а также текстовые расхождения по сравнению с другими изданиями. Нумерация приводится в соответствии с русскоязычным вариантом.

склеп, потребуется карта — галереи заканчиваются галереями — вереницы их тянутся так далеко, что резная скамья или мраморная статуя в дальнем конце может показаться всем, чем угодно — повторяющиеся пастельные рисунки мрамора.

Но даже если вы потеряетесь, бояться нечего.

Девушка подходит к лестнице, и я в ловушке — наверху — между ней под ногами и нарисованными ангелами на потолке — стена полированных мраморных склепов отражает меня в полный рост среди эпитафий.

Камень воздвигнут в честь. Воздвигнут на этом месте. Воздвигнут в знак любви[†].

Вот-вот, я — всё это сразу.

Мои холодные пальцы сжимают ручку — образец номер девяносто восемь — розовая камелия из китайского шёлка — чистый розовый цвет означает, что шёлк был выварен в мыльной воде, чтобы избавиться от серицина — основной стебель сделан из проволоки в зелёном полипропилене — типично для этого периода.

Камелия означает непревзойдённость.

Плоское лицо-маска девушки смотрит на меня наверху лестницы — я не знаю, как понять, живая она или мёртвая — на ней слишком много одежды, чтобы увидеть, вздымается ли её грудь — слишком тепло, чтобы видеть её дыхание.

Песнь Песней, глава семь, стих три:

«Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё — ворох пшеницы, обставленный лилиями».

Библия вечно путает секс с едой.

Здесь с образцом номер сто тридцать шесть — маленькими ракушками, покрашенными розовым, чтобы быть похожими на бутоны роз — с образцом номер семьдесят восемь — бакелитовым нарциссом — я хочу, чтобы она обняла меня холод-

[†] Непереводаемая игра слов. В оригинале: «This Stone Erected in the Honour. Erected on This Spot. Erected in Loving Tribute». «Erected» означает «воздвигнут» или, разумеется, «эрегирован». Таким образом, второй вариант прочтения эпитафий: «С каменно-твёрдой эрекцией. Возбудился, не сходя с места. С эрекцией и влюблён». Или что-то в этом роде.

ными мёртвыми руками и сказала, что у жизни нет конца — что моя жизнь — не «похоронный» кусок компоста, который завтра сгниёт и останется только именем в некрологе.

Среди миль мраморных стен с замурованными телами внутри — такое чувство, как будто мы в тесном многоквартирном доме с тысячами людей — и в то же время мы одни.

Между её вопросом и моим ответом могут пройти годы.

Пар моего дыхания касается дат, ограничивших короткую жизнь Тревор Холлиса.

В эпитафии написано:

«Для целого мира он был неудачником, но для меня он был целым миром».

Тревор Холлис, давай же.

Я тебя прошу, приди и возжажди мести.

С откинутой головой, девушка улыбается мне наверху.

Её рыжие волосы горят на сером камне вокруг, и она говорит мне: «Ты принёс цветы».

Мои руки дрожат, и цветы — фиалки, маргаритки, георгины — падают вокруг неё.

Она ловит гортензию и говорит: «Никто не приходил сюда с самых похорон».

Песнь Песней, глава семь, стих три:

«Два сосца твои — как два козлёнка, двойни серны».

Её рот с очень тонкими очень красными губами — как ножевая рана.

Она говорит: «Привет. Я — Изобилия».

Она протягивает мне цветок, как будто я могу до него дотянуться, и спрашивает: «Откуда ты знаешь моего брата, Трево-ра?»

42

f o u r t y t w o
с о р о к д в а

Е Ё ЗВАЛИ ИЗОБИЛИЯ ХОЛЛИСТ.
Это её полное имя, без шуток.

И она — то, о чём я действительно хотел бы поговорить с моей психологом.

Часть условий моего наблюдения — я должен встречаться с психологом — каждую неделю — один час — взамен я получаю льготы на жильё — программа субсидирует моё жильё — бесплатный сыр — сухое молоко — мёд и масло от правительства — бесплатное трудоустройство — это только некоторые из выгод, которые получаешь в Федеральной программе поддержки уцелевших.

Моя собачья конура и слишком много сыра.

Моя собачья работа с отбивными, которые я ворую и везу домой на автобусе.

Я получаю как раз столько, чтобы свести концы с концами.

Вы не получите ничего стоящего, не получите парковки для инвалидов, но раз в неделю на один час получите психолога.

Каждый вторник в своей бесцветной государственной машине моя психолог подъезжает к дому, где я работаю — с профессиональным сочувствием — с папками и делами пациентов

[†] В оригинале — «Fertility», что означает «плодородие, изобилие». «Hollis», вероятно, служит намёком на «hollow» — «пустой» (а может быть — «holy», «святая», или «holiness», «святость»). Возможно, Поланик обыгрывает противоположное значение имени и фамилии.

— с записями цифр на спидометре, чтобы знать, сколько миль проехала от пациента к пациенту.

На этой неделе у неё двадцать четыре пациента.

А на прошлой было двадцать шесть.

Каждый вторник она приезжает слушать.

Каждую неделю я спрашиваю её, сколько уцелевших осталось в стране.

Она на кухне, поглощает дайкири[†] и чипсы — она сняла туфли, и её огромная сумка с делами пациентов лежит на столе между нами, пока она достаёт планшет и перелистывает бланки, чтобы найти мой.

Она тычет пальцем в колонку цифр и говорит: «Сто пятьдесят семь уцелевших. В стране».

Она вписывает дату и смотрит на часы, чтобы записать время в бланке моего еженедельного обследования — она поворачивает планшет ко мне, чтобы я прочитал, и даёт расписаться внизу — чтобы доказать, что она была здесь — что мы говорили — мы поделились — она даёт мне ручку — мы открыли наши сердца.

Услышь меня. Исцели меня. Спаси меня. Верь в меня.

Не её вина, если после её ухода я перережу глотку.

Пока я расписываюсь, она спрашивает: «Ты знаешь женщину вниз по улице, которая работала в большом серо-коричневом здании?»

Нет. Да. Ладно, я знаю, о ком она.

«Большая тётка. Длинные светлые волосы в косе. Настоящая Брунхильда^{††}», — говорит психолог. — «Короче, она снялась с учёта две ночи назад. Повесилась на удлинителе».

Психолог смотрит на свои ногти, сначала сжав пальцы в кулак, потом растопылив их.

[†] Дайкири — коктейль из рома, сока (обычно — сок лайма) и сахара.

^{††} Брунхильда (Брунхильд, Брунгильда) — героиня германо-скандинавской мифологии, прекрасная валькирия, бросившая вызов Одину; персонаж традиционной оперы, обычно исполняющийся актрисами (певицами) пышного телосложения.

Она снова лезет в огромную сумку и достаёт бутылочку ярко-красного лака для ногтей.

«Ладно», — говорит она. — «Туда ей и дорога. Она мне никогда не нравилась».

Я возвращаю планшет и спрашиваю: «Кто-нибудь ещё?»

«Садовник», — говорит она.

Она начинает взбалтывать ярко-красную бутылочку с высокой белой крышечкой возле уха — второй рукой она перелистывает бланки, чтобы найти нужный — она показывает планшет мне, чтобы я увидел еженедельный бланк клиента номер сто тридцать четыре, на котором стоит большой красный штамп со словами «снят с учёта», и потом дата.

Штамп остался от какой-то программы по уходу за лежащими больными.

В какой-то другой программе «снят с учёта» означало, что пациента выписали.

Теперь это означает, что пациент мёртв.

Никто не хотел заказывать специальный штамп со словом «мёртв» — психолог рассказала мне это пару лет назад, когда снова начались самоубийства.

Пепел к пеплу. Прах к праху.

Такой вот круговорот.

«Этот парень выпил какой-то гербицид[†]», — говорит она.

Она пытается открутить крышечку бутылочки, пытается открутить, пока не белеют костяшки пальцев.

Она говорит: «Эти люди сделают всё, чтобы выставить меня некомпетентной».

Она стучит бутылочкой об край стола и снова пытается открутить крышечку.

«Вот», — говорит она и протягивает её мне через стол. — «Открой, пожалуйста».

Я легко открываю и протягиваю обратно.

[†] Гербицид — вещество, используемое для избирательного уничтожения нежелательных растений путём опрыскивания, опыления и внесения в почву.

«Ты знал этих двоих?» — спрашивает она.

Нет. Я не знал их.

Я знал, кто они, но не помню их раньше.

Я не помню их по детству, но в последние годы видел их поблизости.

Они всё ещё носили старые церковные костюмы — мужчина носил подтяжки, мешковатые штаны, рубашку с длинными рукавами, застёгнутую на все пуговицы даже в самый жаркий летний день — женщина носила тусклый сарафан, которые, я помню, носили Православные женщины — и на голове она всё ещё носила капор — мужчина всегда носил широкополую шляпу — соломенную летом, из чёрного фетра зимой.

Да. О'кей. Я видел их. Их было трудно не заметить.

«Когда ты видел их», — спрашивает психолог, пока проводит красной кисточкой по каждому ногтю, — «ты был расстроен? Видеть людей из твоей старой церкви было грустно? Ты плакал? Тебе было неприятно видеть людей одетых как ты, когда был частью церкви?»

Телефон звонит.

«Это заставило тебя вспомнить своих родителей?»

Телефон звонит.

«Тебя злит то, что случилось с твоей семьёй?»

Телефон звонит.

«Ты помнишь, как это было — до самоубийств?»

Телефон звонит.

«Ты собираешься отвечать?»

Сейчас. Сначала я должен проверить мой план.

Я показываю ей толстую книгу, чтобы она могла видеть список всего, что я должен сделать сегодня.

Люди, на которых я работаю, звонят и пытаются подловить меня — боже упаси мне быть внутри и ответить на звонок, если в этот момент должен чистить бассейн.

Телефон звонит.

Если верить моему плану, я должен обрабатывать паром шторы в синей комнате для гостей — что бы это ни значило.

Психолог хрустит чипсами, так что я показываю ей затихнуть.

Телефон звонит, и я отвечаю.

Громкая связь кричит: «Что ты скажешь о банкете сегодня вечером?»

Расслабьтесь, говорю я. Ерунда — лосось без костей, нарезанная морковь, тушёный эндивий.

«Что это?»

Это жареные листья, говорю я. Их едят маленькой вилочкой, с краю слева, зубцами вниз.

Вы уже знаете тушёный эндивий — я знаю, что вы знаете тушёный эндивий — он был на Рождество в прошлом году — вы обожаете тушёный эндивий — съешьте только три кусочка, говорю я телефону — я обещаю, вы полюбите его.

Громкая связь говорит: «У тебя получилось удалить пятна с облицовки камина?»

Если верить моему плану, я должен этим заниматься только завтра.

«Да, точно», — говорит громкая связь. — «Мы забыли».

Да. Точно. Вы забыли.

Придурки.

Если вы назовёте меня джентльменом на службе джентльмена, вы ошибётесь дважды.

«О чём ещё нам стоит знать?»

День матери.

«Чёрт! Блядь! Ёб твою!» — говорит громкая связь. — «Ты позаботился и послал что-нибудь? Подстраховал?»

Конечно.

Я послал каждой из матерей прекрасный букет цветов — цветочник выставит им счёт.

«Что ты написал в карточке?»

Я говорю:

«Моей дорогóй мамочке, которую я люблю и помню всегда. Ни у одного любящего сына/дочери никогда не было матери, которая бы любила его/её больше. С любовью», потóм подпись.

Постскриптум: «Засушенный цветок так же прекрасен, как свежий».

«Звучит хорошо. Это должно успокоить их ещё на годик», — говорит громкая связь. — «Не забудь полить все цветы на крыльце. Это записано в плане».

Потóм они кладут трубку.

Им никогда не нужно напоминать мне ни о чём — они просто хотят оставить *за собой* последнее слово.

Я не потею от страха.

Психолог двигает свеженакрашенные ногти туда-сюда перед ртом и дует на них, чтобы высохли.

Между долгими выдохами она спрашивает: «Твоя семья?»

Она дует на ногти.

Она спрашивает: «Твоя мать?»

Она дует на ногти.

«Ты помнишь свою мать?»

Она дует на ногти.

«Как ты думаешь, чувствовала она что-нибудь?»

Она дует на ногти.

«Я имею в виду, когда покончила с собой?»

Матфей, глава двадцать два, стих тринадцать:

«Но кто выстоит до конца, тот спасётся».

Если верить моему плану, я чищу фильтр кондиционера — я вытираю пыль в зелёной комнате — есть медные дверные ручки, которые нужно почистить — есть старые газеты, которые нужно выбросить.

Час почти закончился, и о чём мы так и не поговорили, так это про Изобилию Холлис — как мы встретились в мавзолее — гуляли около часа — и она рассказывала мне о разных на-

правлениях в искусстве двадцатого века — и как они изображали распятого Христа.

В самом старом крыле мавзолея, в крыле Упокоения, Иисус измождённый и романтичный, с по-женски большими влажными глазами и длинными ресницами.

В крыле, построенном в тридцатых, Иисус — социальный реалист с огромными мышцами супермена.

В сороковых, в крыле Безмятежности, Иисус стал абстрактным набором плоскостей и кубов.

Иисус пятидесятых — из полированного дерева, датский модернистский скелет.

Иисус шестидесятых сколочен из досок.

В семидесятых крыла не построили — а в крыле восьмидесятых нет Христа, только сплошной зелёный полированный мрамор и медь, как в магазине.

Изобилия говорила об искусстве, и мы бродили по крыльям Упокоения, Безмятежности, Мира, Радости, Спасения, Вознесения и Очарования.

Она сказала, что её зовут Изобилия Холлис.

Я сказал, чтобы она называла меня Труженик Брэнсон — *лучше имени у меня нет.*

Теперь каждую неделю она навещает склеп брата, она обещала там быть в следующую среду.

Психолог спрашивает: «Прошло десять лет. Почему ты не хочешь открыться, поделиться своими чувствами о твоей погибшей семье?»

Извините, говорю я. Но мне правда нужно работать.

Я говорю ей, что наш час закончился.

41

f o u r t y o n e
с о р о к о д и н

ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО, ПОКА САМОЛЁТ НЕ РАЗБИЛСЯ, я должен объяснить о своём имени — что значит «Труженик Брэнсон».

Это не совсем имя, это скорее должность — всё равно, как если назвать ребёнка «Лейтенант Смит» или «Епископ Джонс», или «Губернатор Браун», или «Доктор Мур», «Шериф Петерсон».

В культуре Правоверных были только фамилии — фамилия доставалась от мужа — это как знак собственности, как клеймо.

Моя фамилия — Брэнсон.

Моё звание — *Труженик* Брэнсон. Это низшее звание.

Психолог спросила как-то, не служила ли фамилия рек-
ламой, хорошей или плохой, когда сыновья и дочери искали
работу в мире вокруг.

После самоубийств люди в мире вокруг представляют себе
культуру Правоверных так же странно, как мой брат Адам пред-
ставлял их самих.

«В мире вокруг», — говорил мне мой брат, — «люди без-
рассудны как звери, они прелюбодействуют с незнакомцами
прямо на улицах».

А теперь люди в мире вокруг спрашивают меня, влияли ли
фамилии на размер оплаты, могла ли фамилия повыситься или
понизить заработок.

Теперь люди спрашивают, делали ли Правоверные отцы
детей своим дочерям, чтобы заработать побольше.

Они спрашивают, были ли кастрированы Правоверные дети, которым нельзя было жениться, намекая — *был ли я*.

Они спрашивают, занимались ли Правоверные сыновья онанизмом, скотоложством с животными на фермах, содомией друг с другом, намекая — *делал ли это я*.

Был ли я. Делал ли я.

Незнакомцы спрашивают в лицо, девственник ли я.

Я не знаю.

Я забыл.

Это не ваше дело.

Для записи: мой брат Адам Брэнсон был старше меня на три с половиной минуты, но для Правоверных это было всё равно, что годы.

Потому что Правоверные *не давали призов за второе место*.

В каждой семье первый сын получал имя «Адам», и это Адам Брэнсон унаследует нашу землю в церковном округе.

Все сыновья после Адама получали имя «Труженик».

В семье Брэнсонов я был одним из, по крайней мере, восьми Тружеников Брэнсонов, которых мои родители выпустили как миссионеров труда.

Все дочери, с первой по последнюю, получали имя «Послушница».

«Труженики — трудолюбивые работники».

«Послушницы послушны вашим приказам».

Я знаю, что если церковные старейшины выбирали Послушницу Брэнсон в жёны Адаму из другой семьи, её имя, её звание, становилось «Матушка» — замужем за Адамом Мэкстоном. Послушница Брэнсон становилась Матушкой Мэкстон.

Родители Адама Мэкстона тоже звались Адам и Матушка Мэкстон, пока у молодых не появится ребёнок — а после этого к обоим родителям обращались «Старейшина Мэкстон».

В большинстве семей, когда первый сын заводил первого сына, Матушка уже умирала от родов ребёнка за ребёнком за ребёнком.

Почти все церковные старейшины были мужчинами — мужчина мог стать церковным старейшиной к тридцати пяти, если постареется.

Ничего сложного.

Ничего похожего на мир вокруг и его систему родителей, дедушек и прадедушек, тёток и дядей, племянников и племянниц, и у каждого — своё имя.

В культуре Правоверных твоё имя говорило всем, кто ты есть — Труженик, Послушница, Адам или Матушка, или Старейшина, — имя говорило, как пройдёт твоя жизнь.

Люди спрашивают, злился ли я, потому что потерял право владеть землёй и создать семью только потому, что мой брат на три с половиной минуты опередил меня.

И я научился говорить им «да»

Это то, что люди в мире вокруг хотят слышать.

Только это неправда, ведь я никогда не злился.

Это всё равно, что злиться, потому что не родился с длинными пальцами и не станешь знаменитым скрипачом.

Это всё равно, что хотеть, чтобы твои родители были выше — стройнее — сильнее — счастливее.

Это прошлое, над которым ты не властен.

Просто Адам родился первым.

И, может, это Адам завидовал мне, потому что это я уеду и увижу мир вокруг.

Когда я собирался, чтобы уехать, Адам женился на Послушнице Глисон, которую едва знал.

Церковные старейшины составляли списки, какáя Послушница за кого вышла, так чтобы те, кого в мире вокруг называют «двоюродные братья и сёстры», никогда не поженились.

Каждое поколение, когда Адамам исполнялось семнадцать, церковные старейшины встречались, чтобы выбрать им жён так далеко от семей, как можно.

Каждый год был сезон свадеб — было почти сорок семей в церковном округе — и каждый год почти каждая семья справляла в доме свадьбу.

Для Труженика или Послушницы сезон свадеб был чем-то, на что смотришь тайком.

Если вы — Послушница, вы могли мечтать, что это произойдёт с вами.

А если ты Труженик — ты не мечтал.

[†] В оригинале имя героя — Tender («заботящийся, ухаживающий, трудящийся»). Остальные имена в оригинале — Bidy (от глагола to bid — «просить, приказывать»), Author («автор», а вернее — «родительница»), Elder («старейшина»).

Соответственно, после перевода имён потеряла смысл фраза «Можно догадаться, что оба имени — это сокращение от длинных традиционных имён, но я не знаю, от каких» и была тактично исчезнута.

Я считаю, что в данном случае говорящие имена имеют ключевое значение и пренебрегать ими нельзя. В известных мне переводах имена транслитерированы — Тендер, Бидди, Ода (Тимофеев), Ота (Покидаева).

40

f o u r t y
с о р о к

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ КАК ВСЕГДА ЗВОНКИ.

Снаружи полнолуние — люди готовы умереть из-за плохих оценок в школе — из-за ссоры в семье — из-за разрыва с парнем — из-за своих ненавидимых работ — и всё это пока я пытаюсь управиться с украденными отбивными.

Люди звонят по межгороду, и оператор спрашивает, согласен ли я оплатить крик о помощи от неизвестно кого.

Сегодня ночью я пробую новый способ есть лосося, запечённого в тесте — изящный новый поворот запястья — маленький фокус для людей, на которых я работаю, чтобы удивить других гостей на следующем званом обеде — маленький фокус на приёме — эквивалент бальных танцев в этикете — я отрабатываю зрелищный способ донести до рта лук со сливками — я почти достиг совершенства в безопасном способе избавления от лишних сливок, когда телефон звонит.

Снова.

Звонит парень и говорит, что завалил экзамен по алгебре.

Просто чтобы потренироваться, я говорю ему: убей себя.

Женщина звонит и говорит, что её дети не слушаются.

Без задержки я отвечаю: убей себя.

Мужчина звонит и говорит, что машина не заводится.

Убей себя.

Женщина звонит, чтобы спросить, когда начинается последний сеанс кинофильма.

Убей себя.

Она спрашивает: «Это 555-1327? Кинотеатр “Мурхаус”?»

Я говорю убей убей убей себя.

Девушка звонит и спрашивает: «А умирать очень больно?»

Золотко, говорю я ей, умирать больно, но жить дальше куда больнее.

«Я просто интересуюсь», — говорит она. — «На прошлой неделе мой брат покончил с собой».

Это должна быть Изобилия Холлис — я спрашиваю её, сколько было её брату? — я стараюсь сделать голос ниже, чтобы она не узнала меня.

«Двадцать четыре», — говорит она без плача — без ничего — не похоже даже, чтобы она была расстроена.

Её голос заставляет меня думать про её рот заставляет меня думать про её дыхание заставляет меня думать про её грудь.

Первое Коринфянам, глава шесть, стих восемнадцать:

«Убегайте от блуда... занимающийся блудом грешит против собственного тела».

Своим новым глубоким голосом я спрашиваю её, что она чувствует.

«Поживём — увидим», — говорит она. — «Пока не знаю. Семестр почти закончился. Работу я ненавижу. Срок аренды квартиры подошёл к концу. Документы на машину — до следующей недели. Если я решусь, то это самое время, чтобы убить себя».

Есть столько причин жить, говорю я ей — и надеюсь, что она не попросит перечислить.

Я спрашиваю, есть ли кто-нибудь, с кем она может разделить скорбь по брату — может быть, его старый друг, который может поддержать её.

«Нет».

Я спрашиваю, приходит ли кто-нибудь к могиле её брата.

«Нет».

Я спрашиваю, совсем никто? Никто не кладёт цветы на могилу? Ни один старый друг?

«Нет».

Да, я произвёл сильное впечатление.

«Нет», — говорит она. — «Подожди. Есть один странный тип».

Замечательно. Я странный.

Я спрашиваю, что она имеет в виду — «странный».

«Помнишь этих членов культа, которые все покончили с собой?» — говорит она. — «Лет семь или восемь назад. Весь город, где они жили, они все пошли в церковь и выпили яд. Люди из ФБР нашли их на полу, держащихся за руки, мёртвых. Парень напомнил мне об этом. Не столько его дурацкая одежда, сколько его волосы, как будто он их сам стриг с закрытыми глазами».

Это было десять лет назад. Я хочу только повесить трубку.

Вторая Паралипоменон[†], глава двадцать один, стих девятнадцать:

«Выпали внутренности его».

«Алло!» — говорит она. — «Ты здесь?»

Да, говорю я. Что ещё?

«Ничего ещё», — говорит она. — «Он был у склепа моего брата с охапкой цветов».

Видишь, говорю я, это именно тот любящий человек, который ей нужен в такое время.

«Не думаю», — говорит она.

Он женат? — спрашиваю я.

«Нет».

Он встречается с кем-нибудь?

«Нет».

Тогда познакомься с ним, говорю я ей. Пусть ваша общая потеря сблизит вас. Это может стать новым началом для неё.

«Не думаю», — говорит она. — «Во-первых, ты его не видел. Я всегда подозревала, что мой брат голубой, а тот странный

[†] Вторая Книга Паралипоменон, или Вторая Книга Летописей.

тип с цветами подтвердил все мои подозрения. Кроме того, он мне не нравится».

Плач Иеремии, глава два, стих одиннадцать:

«Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя».

Я говорю, может он пострижётся получше. Ты можешь помочь ему. Придать ему лоск.

«Не думаю», — говорит она. — «Он совершенно уродливый. Эта ужасная стрижка, и баки до самого рта. Это не то, когда парни используют щетину как женщины косметику, ну, чтобы спрятать двойной подбородок или узкие скулы. В нём просто ничего хорошего нет. Да он ещё и педик».

Первое Коринфянам, глава одиннадцать, стих четырнадцать:

«Не сама ли природа учит нас, что если мужчина носит длинные волосы, для него это бесчестье».

Я говорю, у неё нет доказательств, что он содомит.

«А какие доказательства нужны?»

Я говорю, спроси его.

Она ведь ещё увидится с ним?

«Ну», — говорит она. — «Я сказала ему, что встречусь с ним у склепа через неделю, но я не знаю. Я не всерьёз. Я это сказала, чтобы отделаться от него. Он такой жалкий и несчастный. Он за мной по всему мавзолею ходил, целый час».

Но она должна с ним встретиться, говорю я. Она обещала. Подумай о бедном мёртвом Треворе, её брате. Что бы Тревор сказал, если она так отошьёт его единственного друга?

Она спрашивает: «Откуда ты знаешь его имя?»

Чьё имя?

«Моего брата, Тревора. Ты назвал его имя».

Она сказала его первой, говорю я — минуту назад она сказала его. Тревор — двадцать четыре — покончил с собой на прошлой неделе — гомосексуалист — может быть — у него тайный любовник, которому отчаянно нужно поплакать у неё на плече.

«Ты всё это запомнил? Ты внимательно слушал», — говорит она. — «Я впечатлена. Как ты выглядишь?»

Уродливо, говорю я. Ужасно. Ужасные волосы. Ужасное прошлое. Я бы ей не понравился.

Я спрашиваю о друге — а может любовнике — вдове её брата — встретится она с ним через неделю, как обещала?

«Не знаю», — говорит она. — «Может быть. Я встречу с уродом через неделю, если ты сделаешь для меня кое-что сейчас».

Просто помни, говорю я ей. У тебя есть шанс сильно изменить чью-то одинокую жизнь. Вот шанс подарить любовь и заботу человеку, которому отчаянно нужна любовь.

«На хуй любовь», — говорит она, понизив голос как я. — «Скажи что-нибудь, чтобы я кончила».

Я не знаю, что она имеет в виду.

«Ты *знаешь*, что я имею в виду», — говорит она.

Бытие, глава три, стих двенадцать:

«Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел».

Слушай, говорю я. Я здесь не один. Все вокруг меня — добровольцы, тратящие своё время.

«Сделай это», — говорит она. — «Полижи мне сиськи».

Я говорю, что она злоупотребляет моей заботливостью и участием — я говорю, что мне придётся положить трубку.

Она говорит: «Целуй всё моё тело».

Я говорю, я кладу трубку.

«Сильнее», — говорит она. — «Сильнее. Сильнее, ещё сильнее» — она смеётся и говорит: «Лижь меня. Лижь меня. Лижь меня. Лижь. Меня».

Я говорю, я кладу трубку. Но только говорю.

Изобилия говорит: «Ты *знаешь*, что хочешь меня. Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала. Ты *знаешь*, что *хочешь*. Скажи мне сделать что-нибудь ужасное».

И прежде, чем я что-то понимаю, Изобилия Холлис издаёт громкий протяжный крик страстного оргазма порнобогини.

Я кладу трубку.

Первое Тимофею, глава пять, стих пятнадцать:

«Ибо некоторые уже уклонились и пошли вслед за Сатаной».

Я чувствую себя использованной грязной дешёвкой. Грязным, обманутым, выброшенным.

Телефон звонит. Это *она*. Это *должна быть* она, так что я не беру трубку.

Всю ночь звонит телефон. Я сижу, чувствуя себя обманутым, и не решаюсь ответить.

39

t h i r t y n i n e

т р и д ц а т ь д е в я т ь

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД У МЕНЯ БЫЛА ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С психологом.

Это реальный человек, с именем и офисом, но я не хочу создавать ей проблем, у неё хватает своих.

У неё есть диплом психолога — ей тридцать пять лет — у неё не выходит с парнями.

Десять лет назад ей было двадцать пять, и она была по уши в клиентах, назначенных ей федеральным правительством по программе поддержки уцелевших.

Что произошло, так это полицейский подошёл к двери дома, где я тогда работал.

Десять лет назад мне было двадцать три — и это всё ещё было моё первое место, потому что я работал на совесть — я не знал ничего лучшего — газоны около дома были всегда зелёными — стриженными так ровно, что выглядели как зелёная меховая шуба.

Ничто в доме никогда не выглядело неухоженным.

Когда тебе двадцать три, ты думаешь, что можешь так работать *всегда*.

Позади полицейского у двери было ещё двое полицейских и психолог, стоящие у машины.

Вы не можете представить себе, как хорошо мне было работать, пока я не открыл дверь — всю свою жизнь я трудился для этого — чтобы пройти крещение и отправиться убирать домá в ужасном мире вокруг.

Когда люди, на которых я работал, послали первое пожертвование за мои первые месяцы работы, я светился от счастья.

Я *правда* верил, что помогал создать Рай земной.

Как бы люди ни смотрели на меня, я всегда носил обязательный церковный костюм — шляпа, мешковатые штаны без карманов, белая рубашка с длинными рукавами.

Как бы жарко ни было, я носил коричневое пальто, если выходил из дома, какие бы глупости люди мне ни говорили.

«Как ты можешь носить рубашки с пуговицами?» — спрашивал меня кто-нибудь в скобяной лавке.

А так, что я не амиши[†].

«Ты наверное должен носить специальное нижнее бельё?»

Они наверное говорят про мормонов^{††}.

«Разве жить вне колонии не против твоей религии?»

Разве я похож на меннонита[‡]?

«Никогда раньше не встречал гуттерита^{††}».

Не встретил и сейчас.

[†] Амиши — последователи консервативной религиозной секты, отрешившейся от плодов цивилизации; отделились от меннонитов в 1693 году и прибыли в Америку в начале XVIII века из Германии и Швейцарии. Амиши не признают цивилизации: не водят машин, не пользуются магистральным электричеством и газом, не служат в армии, не смотрят телевидение и не слушают радио, носят *одежду старого образца без пуговиц*, ведут натуральное хозяйство, ездят на лошадях и говорят на немецком диалекте, их дети не посещают общеобразовательные школы. Они верят, что Бог сохранит их от влияния современного мира.

^{††} Мормоны (самоназвание: «Святые последнего дня»), члены религиозной секты, возникшей в США в первой половине XIX в. Основатель секты Джозеф Смит опубликовал в 1830 г. н. «Книгу Мормона», объявленную переводом таинственных писем пророка Мормона, который якобы является одним из родоначальников американских индейцев. «Книга Мормона» и Библия — главные источники вероучения мормонов. В теологии мормонов акцент ставится на буквальном прочтении Библии (в особенности Ветхого завета). Значительное место в миссионерской пропаганде М. занимают вопросы *физического здоровья и личной нравственности*, узко трактуемой как добродетель трудолюбия и бережливости.

Было здорово отличаться от мира — такой загадочный и праведный — я не был частью мира — я был непорочен как порицающий жест — это я был тем праведником, ради которого Бог не обрушивает Свой гнев на торговый центр Valley Plaza, как на Содом и Гоморру.

Я был спасителем их всех — знали они это или нет — жарким днём, одетый в тяжёлую тусклую шерсть — я был мучеником, горящим на костре.

Было даже лучше, если я встречал кого-то, одетого так же — коричневые штаны — коричневое платье — и у всех одинаковые коричневые бесформенные туфли.

Мы двое оказывались в маленьком тихом мире разговора — было так мало вещей, которые вы могли сказать друг другу в мире вокруг — можно было сказать только три или четыре фразы, так что никто не хотел начинать сразу, и не торопился со словами.

Делать покупки — это единственная причина, по которой можно было выйти к людям, и то — только если вам доверяли деньги.

Если вы встречали кого-то из церковного округа, вы могли сказать:

«Пусть жизнь твоя будет исполнена служения».

Вы могли сказать:

«Хвала и слава Господу за этот день трудов наших».

† Меннониты — протестантская секта, возникшая в первой половине XVI века в Нидерландах как результат вырождения революционного анабаптизма в непротивленческую секту. Самыми существенными чертами христианина меннониты считают смирение, отказ от насилия (даже если оно совершается ради общего блага), нравственное самосовершенствование. Крестят лишь взрослых. *Общины меннонитов замкнуты, личность в них подавлена; чуждаясь современной цивилизации, Меннониты придерживаются подчеркнуто старомодных форм в одежде, причёске, образе жизни.*

†† Гуттериты (также «гүттерское братство») — одна из групп протестантов, объединяемая иногда с меннонитами; секта возникла в Европе в первой половине XVI века и названа по имени Якоба Гуттера, канонизированного в 1536. Как и меннониты, гуттериты признают лишь общую собственность, считают себя пацифистами.

Вы могли сказать:

«Да приблизит труд твой всех вокруг к Небесам».

И вы могли сказать:

«Умри, не оставив незавершённых дел».

И это всё.

Вы видели кого-то ещё, праведного и потного в церковном костюме, и прокручивали этот разговор в голове.

Вам следовало не задерживаться — и нельзя было прикасаться друг к другу — нельзя обниматься — нельзя жать руки — я мог сказать одну разрешённую фразу — он скажет другую — и так пока оба не скажем по две.

С поклоном мы возвращались к своей работе.

Это только кусочки кусочков всех тех правил, что я должен был помнить.

Пока я рос в церковном округе, половина того, что я учил, — это церковные доктрины и правила, а половина была про обслуживание — обслуживание включало садоводство — этикет — уход за одеждой — уборку — плотничество — шитьё — животные — арифметика — удаление пятен — и *терпение*.

Правила для мира вокруг включали то, что я должен писать каждую неделю исповеди старейшинам церкви — я должен был отказаться от сладостей — пить и курить нельзя — всегда выглядеть чистым и опрятным — нельзя было развлекаться — нельзя вступать в сексуальные отношения.

Луки, глава двадцать, стих тридцать пять:

«А удостоившиеся достичь той системы вещей... не женятся и не выходят замуж».

У старейшин Правоверных воздержание звучало так же просто, как не играть в бейсбол — просто скажи «нет».

Другие правила — всё больше и больше — Боже упаси, не смей танцевать — или есть сахар-рафинад — или петь.

Но самым главным правилом, которое я помнил, было:

Если членов церковного округа призовет Господь, возрадуйся. Когда Апокалипсис будет неминуем, возликуй. И все Правоверные должны предстать перед Богом, аминь.

И ты — последуй.

Неважно, как далеко.

Неважно, как долго ты работал в мире вокруг.

Поскольку слушать радио и смотреть телевизор было нельзя, могли пройти годы, пока все Правоверные не узнают об Исходе — так называла это церковь — исход — поход в Египет — поход из Египта — люди вечно бегают с места на место в Библии.

Вы могли годами не знать об этом, но когда узнаете, вы должны были найти пистолет — выпить яд — утопиться — повеситься — перерезать — выпрыгнуть.

Вы должны были отправиться на Небеса.

Вот, почему за мной приехали три полицейских и психолог.

Полицейский сказал: «Вам будет нелегко это услышать», и я знал, что я — уже в прошлом.

Это был Апокалипсис — Исход — и несмотря на мою работу и деньги, которые я заработал, Рая земного просто не будет.

Прежде, чем я пришёл в себя, психолог вышла вперёд и сказала: «Мы знаем, что вы были запрограммированы сделать в такой момент. Мы будем наблюдать за вами, чтобы предотвратить это».

Когда колония церкви объявила Исход, было около полутора тысяч Правоверных, работающих по всей стране.

Через неделю их было шестьсот.

Через год — четыреста.

С тех пор даже несколько психологов покончили с собой.

Правительство нашло меня и других уцелевших по письмам с исповедями, которые мы посылали в церковь каждый месяц.

Мы не знали, что пишем письма и посылаем деньги старейшинам церкви, которые были уже мертвы и на Небесах.

Мы не могли знать, что психологи читают наши подсчёты каждый месяц — кто сколько раз клялся — сколько раз приходили в голову нечистые помыслы — теперь нет ничего, что я мог бы рассказать психологу, чего бы она уже не знала.

Прошло десять лет, и больше нельзя увидеть вместе уцелевших Правоверных — когда встречаются уцелевшие, между ними больше нет ничего кроме стыда и отвращения.

Мы не свершили самого главного таинства.

Жалость — для себя, отвращение — для другого.

Уцелевшие, которые всё ещё носят церковную одежду, делают это, чтобы похвастаться своей болью — рúбище и пепел — они не смогли спасти себя — они были слабыми — правил больше нет, и это не важно — мы все идём прямой дорóгой в Ад.

И я был слабым.

Так что я поехал в центр в полицейской машине, и, сидя рядом со мной, психолог сказала: «Вы были невинной жертвой ужасного подавляющего культа. Мы здесь, чтобы помочь вам снова встать на ноги».

С каждой минутой я был всё дальше от того, что должен был сделать.

Психолог сказала: «Я так понимаю, у вас проблемы с мастурбацией? Хотите об этом поговорить?»

С каждой минутой мне было всё труднее сделать то, в чём я клялся при крещении — выстрелить — перерезать — задохнуться — истечь — прыгнуть.

Мир мелькал за окнами так быстро, что у меня заболели глаза.

Психолог сказала: «Ваша жизнь была вызывающим жалость кошмаром до сих пор, но с вами всё будет хорошо. Вы слышите меня? Нужно немного подождать, всё образуется».

Это было десять лет назад, и я всё ещё жду.

Было легко разрешить ей решать за меня.

За десять лет не много поменялось.

Десять лет терапии, и я всё там же.

Наверно, это не то, что сто́ит отпраздновать.

Мы всё ещё вместе — сегодня наша еженедельная встреча номер пятьсот кака́я-то — мы в синей гостевой ванной — есть

ещё зелёная, белая, жёлтая и лиловая ванны — вот, *сколько* денег зарабатывают эти люди.

Психолог сидит на краю ванны, опустив голые ноги в несколько дюймов тёплой воды — её туфли стоят на закрытой крышке унитаза рядом с бокалом для мартини, наполненным гранатовым ликёром, колотым льдом, сахаром и ромом — после каждого нескольких вопросов она с шариковой ручкой в руке тянется за стаканом, держа ножку бокала и ручку накрест, как китайские палочки.

Её последнего парня больше нет, говорит она мне.

Боже упаси, она не предлагает помочь убирать.

Она делает глоток — она ставит бокал обратно, пока я отвечаю — она записывает в официальный бланк на коленях — задаёт новый вопрос — делает глоток — её лицо как асфальт под слоем косметики.

Ларри — Барри — Джерри — Терри — Гарри — всё её бывшие парни — она говорит, что списки потерянных пациентов и потерянных парней идут вровень.

«На этой неделе», — говорит она, — «мы дошли до ста тридцати двух уцелевших по всей стране, но количество самоубийств падает».

Если верить плану, я чищу цемент между маленькими шестиугольными плитками синего пола — это миллиарды миль цемента — выложенные в ряд плитки пола в ванной достанут до Луны — и обратно — и так десять раз — и все с чёрным налётом плесени.

Я тру зубной щёткой, окуная её в нашатырный спирт — его запах смешивается с дымом её сигареты — заставляет меня чувствовать себя усталым — и сердце колотится.

И я немного не в себе — нашатырь — дым — Изобилия Холлис всё звонит мне домой — я не решаюсь взять трубку, но знаю, что это она.

«В последнее время ты говорил с незнакомцами?» — спрашивает психолог.

Она говорит: «Тебе не звонили с угрозами, или чем-то похожим?»

Психолог продолжает задавать вопросы половиной рта, удерживая в губах сигарету — как будто собака сидит здесь — пьёт martini и рычит на тебя — сигарета — глоток — вопрос — она дышит — пьёт — говорит — она показывает все основные применения человеческого рта.

Она раньше не курила, но говорит, что всё больше и больше страшится дожить до старости.

«Разве только если у меня хоть что-то в жизни получится», — говорит она новой сигарете в руке, прежде чем зажечь её.

Что-то невидимое начинает пищать — пищать — пищать, пока она не нажимает на часах, чтобы прекратить это — она тянется к своей сумке на полу рядом с унитазом и достаёт пластиковую баночку.

«Имипрамин», — говорит она. — «Извини, тебе не предлагаю».

Раньше программа поддержки уцелевших выдавала им лекарства — «ксанакс», «прозак», «валиум», «имипрамин»[†].

План провалился, потому что многие пациенты копили лекарства за три недели — шесть недель — восемь недель — в зависимости от веса — а потом принимали всё сразу и запивали виски.

Если с пациентами лекарства и не сработали, психологам это помогало.

«Ты не замечал, что за тобой следят», — спрашивает психолог, — «кто-нибудь с пистолетом или ножом, ночью, когда ты идёшь домой с автобусной остановки?»

Я оттираю промежутки между плитками от чёрного до коричневого до белого и спрашиваю, зачем её это.

«Просто так», — говорит она.

Нет, говорю я, мне не угрожали.

«Я звонила тебе на этой неделе, и никто не отвечал», — говорит она. — «Что случилось?»

Я говорю, ничего не случилось.

[†] «Ханакс», «Prozac», «Valium», «Imipramine» — торговые марки транквилизаторов и антидепрессантов

На самом деле я не отвечаю по телефону потому, что не хочу говорить с Изобилией Холлис, пока не увижусь с ней лично — по телефону она выглядела помешанной на сексе — я не могу рисковать.

Я соревнуюсь сам с собой — я не хочу, чтобы она влюбилась в меня — голос в телефоне — и в то же время пытаюсь понравиться ей *настоящий* — лучше, если она никогда не будет говорить со мной по телефону снова.

Живой — дышащий — ужасный — уродливый я не сравнюсь с её фантазией — так что у меня есть план — ужасный план, как заставить её ненавидеть меня и в то же время меня влюбиться — план как *оттолкнуть* её — *разонравиться* ей.

«Когда тебя нет дома», — говорит психолог, — «кто-нибудь имеет доступ к твоей еде?»

Завтра мой следующий день с Изобилией Холлис в мавзолее — если она появится — тогда первая часть моего плана вступит в действие.

Психолог спрашивает: «Ты получал какие-нибудь угрожающие или непонятные письма?»

Она спрашивает: «Ты меня слушаешь?»

Я спрашиваю, что это за вопросы?

Я говорю, я выпью эту бутылку нашатыря, если она не расскажет, что происходит.

Психолог смотрит на часы — она постукивает кончиком ручки по планшету и заставляет меня дожидаться, пока не затянется сигаретой и не выпустит дым.

Если она правда хочет помочь мне, говорю я ей и протягиваю зубную щётку, тогда пусть трёт.

Она ставит свой бокал и берёт зубную щётку — она трёт по дюйму цемента между плитками на стене около неё — она останавливается — смотрит — ещё трёт — ещё смотрит.

«Ни фига себе», — говорит она. — «Работает. Смотри, как чисто стало».

С ногами всё ещё в нескольких дюймах воды, психолог тянется к стене, чтобы было удобней, и ещё трёт.

«Боже, я и забыла как здорово, когда что-то получается».

Она не замечает, но я остановился.

Я сижу на корточках и смотрю, как она набросилась на плесень.

«Слушай», — говорит она, и продолжает тереть в разных направлениях, следуя за щелями между синими плитками.

«Всё это может быть ерундой», — говорит она, — «но это для твоего же блага. Тебе может угрожать опасность».

Она не должна мне этого говорить, но некоторые самоубийства уцелевших выглядят немного подозрительно.

Большинство самоубийств выглядят нормально, большинство — всего лишь обычные самоубийства подручными средствами, говорит она, но среди них есть несколько странных.

В одном случае мужчина-правша застрелился *левой рукой* — в другом случае женщина повесилась на поясе от халата, но одна рука у неё была вывихнута, и шрамы на запястьях.

«Это не единственные случаи», — говорит психолог, работая щёткой. — «Они повторяются».

Сначала никто в программе не придавал этому значения, говорит она — самоубийства как самоубийства — особенно среди таких пациентов — самоубийства пациентов происходят всплесками — бегство — один или два тянут за собой двадцать — лемминги.

Жёлтый планшет съезжает с её коленей на пол, и она говорит: «Самоубийства — очень заразная штука».

Похоже, что эти ненастоящие самоубийства случаются, когда спадает волна обычных.

Я спрашиваю, что она имеет в виду — «ненастоящие самоубийства».

Я тайком отхлёбываю её martini — на вкус как полоскание для рта.

«Убийства», — говорит психолог. — «Кто-то убивает уцелевших и обставляет всё как самоубийство».

Когда волна самоубийств подходит к концу, происходит убийство, чтобы снова подтолкнуть всё — после двух-трёх таких случаев самоубийство снова свежо и притягательно — и ещё дюжина уцелевших присоединяется и умирает.

«Легко представить себе убийцу, одного человека или отряд Правоверных, которые хотят убедиться, что все отправятся на Небеса вместе», — говорит психолог. — «Звучит глупо и параноидально, но всё объясняет».

Исход.

Так почему она задаёт мне эти вопросы?

«Потому что сейчас всё меньше и меньше уцелевших убивают себя», — говорит она. — «Естественный процент самоубийств падает. Кто бы это ни делал, он убьёт снова, чтобы самоубийства возобновились. Убийства происходят по всей стране».

Она трёт зубной щёткой — она окунает её в нашатырь — с сигаретой в одной руке — продолжает тереть другой.

Она говорит: «Кроме времени, когда это происходит, нет никакой связи. Это мужчины — женщины — молодые — старые. Ты должен быть осторожным, потому что можешь оказаться следующим».

Единственный человек, с которым я познакомился за месяцы, — это Изобилия Холлис.

Я спрашиваю у психолога — она женщина и всё такое — как женщины хотят, чтобы выглядел мужчина? — что она ищет в сексуальном партнёре?

Она оставляет за собой ломаный след белоснежного цемента.

«Ещё нужно помнить», — говорит психолог, — «что всё это может иметь нормальное объяснение. Может быть, никто не хочет тебя убить. Может быть, тебе абсолютно нечего бояться».

38

t h i r t y e i g h t

т р и д ц а т ь в о с е м ь

ЧАСТЬ МОЕЙ РАБОТЫ — САДОВОДСТВО, ТАК ЧТО я опрыскиваю всё двойной дозой ядохимикатов — и сорняки, и другие растения — а потом я расправляю искусственный шалфей и мальву.

В этом сезоне я добиваюсь вида искусственного сада при коттедже — в прошлом году я делал искусственный французский цветник — а до того японский сад пластиковых цветов.

Мне только нужно повыдёргивать все цветы, рассортировать и по-новому воткнуть в землю.

Ухаживать за ними легко — блёклые цветы опрыскать красной или жёлтой краской — немного прозрачной полироли или лака для волос, чтобы шелковые цветы не трепались по краям — искусственные тысячелистник и настурции полить из шланга, чтобы смыть пыль — пластмассовым розам, прикрученным к мёртвым отравленным скелетам настоящих розовых кустов, нужно немного запаха.

Какие-то синие птицы расхаживают по газону, как будто ищут потерянные контактные линзы.

Для роз я выливаю яд из разбрызгивателя и заливаю три галлона[†] воды и полпузырька «Eternity» Кевина Кляйна — я опрыскиваю искусственные маргаритки водой с ванилью из кухни — искусственные астры получают «White Shoulders» — для других цветов хватит аэрозолей освежителей воздуха с цветочным

[†] Галлон — единица объёма и ёмкости в США, Великобритании и других странах, равняется 8 пинтам. Американский галлон (для жидкостей) равен 3,785 литра.

запахом — искусственный лимонный тимьян я поливаю полиролью для мебели с лимонным запахом.

Часть моей стратегии чтобы окрутить Изобилию Холлис — это выглядеть ещё уродливее.

Испачкаться — это только начало.

Поистрепаться по краям.

Трудно испачкаться, если не касаешься земли — но моя одежда провоняла ядохимикатами — нос обгорел — проводным каркасом пластмассовых калл я зачерпываю пригоршню твёрдой мёртвой земли и втираю в волосы — я заталкиваю грязь под ногти.

Боже упаси меня стараться выглядеть получше для Изобилии — *худшее*, что я могу придумать — это самосовершенствование.

Будет большой ошибкой приодеться — постараться — причесаться — может, одолжить приличной одежды у людей, на которых я работаю — коттон пастельных тонов — почистить зубы — политься тем, что называется «дезодорант» — и войти в Колумбийский мемориальный мавзолей на второе свидание всё ещё уродливым, но видно, что я *старался*.

Так что вот он я. Какой есть. Бери или уходи.

Как вроде мне всё равно, что она думает.

Выглядеть хорошо — этого в моём плане нет.

Мой план — нераскрытый потенциал.

Я добиваюсь вида естественного — натурального — я добиваюсь вида сырого материала — не отчаявшегося и нуждающегося, но готового к использованию — не голодного — конечно, хочется выглядеть стоящим усилий — выстиранным, но не выглаженным — чистым, но не полированным — уверенным, но покорным.

Я хочу выглядеть *честно*.

Правда не сверкает и не переливается.

Пассивная агрессивность в действии.

Моя идея в том, чтобы уродство сработало *на меня*.

Начать с плохого, чтобы был контраст с будущим — до и после — лягушка и принц.

Среда, два часа дня — если верить моему плану, я поворачиваю восточный ковер в розовой гостиной, чтобы не было следов износа.

Нужно передвинуть всю мебель в другую комнату — включая рояль — свернуть ковер — свернуть подстилку под ковром — пропылесосить — вымыть пол — ковер двенадцать на шестнадцать футов — повернуть подстилку и развернуть её — повернуть и развернуть ковер — внести всю мебель обратно.

Согласно моему плану, это не должно занять больше получаса.

Вместо этого я просто распушиваю следы на ковре — развязываю узел на бахrome, который завязали люди, на которых я работаю — я завязываю другой узел на другой стороне ковра, так что он выглядит повернутым — я немного переставляю всю мебель и кладу лёд на маленькие вмятины, оставшиеся на ковре — когда лёд растает, смятый ворс снова поднимется.

Я стираю блеск со своих ботинок.

Глядясь в зеркало женщины, на которую работаю, я крашу её тушью волосы у себя в носу, пока они не становятся толстыми и густыми.

Потом я иду на автобус.

Ещё одна часть Программы поддержки уцелевших — это проездной билет на автобус каждый месяц — на задней стороне билета напечатано: «собственность Департамента людских ресурсов».

Не передаётся.

Всю дорогу до мавзолея я говорю себе, что мне насрать, появится Изобилия или нет.

Множество полузабытых церковных молитв всплывают в памяти — в голове каша из старых молитв и ответственностей.

Пусть буду служить я безгранично и беспредельно.

Пусть труд всякий будет благодатью мне.

Во всякой работе спасение моё.

Пусть не будут тщетны усилия мои.

Трудом своим пусть я спасу мир.

На самом деле я думаю: пожалуйста пожалуйста пожалуйста будь там сегодня, Изобилия Холлис.

На входе в мавзолей обычные дешёвые записи по-настоящему красивой музыки, чтобы ты не чувствовал себя одиноким — это одни и те же десять песен — одна музыка без слов — они включают их только в определённые дни.

В некоторых старых галереях в крыльях Искренности и Новой Надежды никогда не звучит музыка — да её нигде не слышно, пока не прислушаешься.

Эта музыка — фон — утилитарная — музыка как «прозак» или «ксанакс», чтобы контролировать твои чувства — музыка как аэрозоль — как освежитель воздуха.

Я иду через крыло Безмятежности и не вижу Изобилию.

Я иду через Веру, Радость и Спокойствие — и её там нет.

Я ворую пластиковые розы с чьего-то склепа, так что я не приду с пустыми руками.

Я иду через Ненависть, Ярость, Страх и Отречение, и вот, в крыле Упокоения около склепа шестьсот семьдесят восемь, стоит рыжеволосая Изобилия Холлис.

Она ждёт, пока я иду к ней двести сорок секунд, пока не поворачивается и не говорит: «Привет».

Это не может быть та же, кто кричала в оргазме по телефону.

Я говорю, привет.

В её руках букет искусственных оранжевых цветов, вроде как на деревьях — ничего так — но не стоящие того, чтобы их воровать.

Её платье сегодня из парчи — как занавес — белое с белым узором — оно выглядит твёрдым — огнеупорным — пятноустойчивым — немнущимся.

Скромная мать невесты в юбке со складками и с длинными рукавами, она говорит: «Ты тоже скучаешь по нему?»

Всё в ней выглядит мученикоустойчивым.

Я спрашиваю, скучаю по ком?

«По Тревору», — говорит она — босыми ногами на каменном полу.

Ага, да, Тревор, говорю я себе, мой тайный любовник-содомит — я забыл.

Я говорю, да, я тоже по нему скучаю.

Её волосы как будто собраны в поле и прицеплены к голове, чтобы просохли.

«Он когда-нибудь говорил тебе, как взял меня в круиз?»

Нет.

«Это было совсем незаконно».

Она поднимает взгляд от sklepa номер шестьсот семьдесят восемь к потолку, где музыка звучит из маленьких динамиков рядом с нарисованными ангелами и облаками.

«Сначала он заставил меня брать уроки танцев вместе с ним. Мы выучили все бальные танцы, которые называются "ча-ча", и "фокстрот", и "румба", и "свинг", и "вальс". Вальс было легко».

Ангелы играют над нами музыку, и Изобилия с минуту слушает, как будто они ей что-то рассказывают.

«Слушай», — говорит она и поворачивается ко мне.

Она берёт свои и мои цветы и кладёт их у стены.

Она спрашивает: «Ты умеешь танцевать вальс, правда?»

Неправда.

«Не верю, что ты знал Тревора и не умеешь танцевать вальс», — говорит она и трясёт головой.

В её голове Тревор и я танцуем вместе — смеёмся вместе — занимаемся анальным сексом — это препятствие для меня — и ещё мысль, что я убил её брата.

Она говорит: «Раскрой руки».

Я делаю это.

Она подходит ко мне, лицом к лицу, и кладёт одну руку мне на шею, её вторая рука берёт мою и отводит в сторону.

Она говорит: «Другую руку положи, где лифчик».

Я делаю это.

«На спину!» — говорит она и отодвигается от меня. — «Положи руку на застёжку лифчика на спине».

Я делаю это.

Она показывает мне, как делать шаг левой ногой — потом правой ногой — потом сводить ноги вместе — пока она делает всё то же самое, только наоборот.

«Это называется «квадрат», — говорит она. — «Теперь слушай музыку».

Она считает: «Раз, два, три».

Музыка звучит: «Раз, два, три».

Мы считаем снова и снова — и делаем шаг под каждый счёт — и мы танцуем.

Цветы в склепах вверх и вниз по стенам наклоняются над нами — мрамор скользит под нашими ногами — мы танцуем — свет через витражи — статуи в нишах.

Музыка еле доносится из динамиков — и отражается от камня — и движется потоками воздуха и сквозняками — нотами и аккордами вокруг нас — и мы танцуем.

«Что я помню из круиза», — говорит она, положив свою руку на мою. — «Я помню лица последних пассажиров в спасательных шлюпках, смотрящих в окна бального зала. Их оранжевые спасательные жилеты вокруг головы, так что головы казались отрезанными и лежащими на оранжевых подушках. Они всё смотрели круглыми глазами на меня и Тревора, всё ещё внутри бального зала, пока корабль начинал тонуть».

Она была на тонущей лодке?

«На *корабле*», — говорит Изобилия. — «Он назывался "Океанская экскурсия". Произнеси быстро три раза подряд[†]».

И он тонул?

«Это было прекрасно», — говорит она. — «Агент по путешествиям говорила, чтоб мы потом не бежали к ней жаловаться. Это был старый корабль Французской линии, предупредила нас агент, и они его продали какой-то фирме в Южной Америке.

[†] Обыгрывается созвучность слов «Ocean Excursion».

Весь из себя art-deco[†], но просто хлам. Это было как небоскрёб Chrysler Building, плавающий по океану вверх и вниз по Атлантическому побережью Южной Америки, полный нижнего среднего класса Аргентины, с жёнами и детьми. Аргентинцы. Все светильники на стенах были розового стекла, в форме огромных бриллиантов с огранкой "маркиза". Всё на корабле было в розовом бриллиантовом свете, а на коврах были пята и протёртости».

Мы танцуем на месте, потём начинаем поворачиваться.

Раз, два, три, квадрат — вперёд-назад на месте — подъём пятки кубинским шагом, два, три — я поворачиваюсь с Изобилией Холлис в моих руках — мы поворачиваемся снова и снова — мы поворачиваемся снова — поворачиваемся снова — поворачиваемся снова.

Изобилия рассказывает, как спасательные шлюпки исчезли — все спасательные шлюпки исчезли — корабль с пустым шлюпочным такелажом плыл в неторопливом карибском вечере.

Шлюпки уплыли в закат — толпа в оранжевых спасательных жилетах выла и причитала по своим драгоценностям и рецептам — люди делали эти жесты в виде креста.

Изобилия и я — раз два три — вальс два три — через мраморную галерею.

В её рассказе Изобилия и Тревор вальсировали по наклонному паркету красного дерева — по бальному залу Версаля, наклонявшемуся, потому что нос корабля уходил под воду, а корма поднималась, выставляя четырёхлистый клевер винтов в вечерний воздух — стайка маленьких золочёных стульев пронеслась мимо них и собралась у статуи этой греческой богини луны, Дианы — шторы из золотой парчи висели наискось окон.

Они были последними пассажирами корабля «Океанская экскурсия».

Корабль был всё ещё под парами, потому что розовые люстры — «Как обычные люстры», — говорит Изобилия, — «только на корабле они висят жёсткие как сосульки», — люстры

[†] Art-deco (ар деко) — направление в искусстве 1920–1950-х годов, обозначившее синтез авангарда и неоклассицизма, пришедшее на смену конструктивизму. Ар деко отличается ощущение «усталости», геометрические линии, подчеркнутая роскошь и шик, использование дорогих материалов.

в Версальском зале сверкали — и служба оповещения всё ещё наполняла корабль потрескивающей музыкой — один утилитарный вальс сменял другой — и Тревор с Изобилией поворачивались — поворачивались — поворачивались.

Как Изобилия и я поворачиваемся — поворачиваемся — шагаем на месте — скользим нога к ноге по полу мавзолея.

Палубой ниже Карибское море втекало в столовую Трианона, омывая край сотен льняных скатертей — корабль дрейфовал с мёртвыми двигателями — тёплая голубая вода вокруг до горизонта во все стороны.

Даже под небольшим слоем воды шахматная плитка паркета из красного дерева и ореха казалась потерянной и недосягаемой — последний взгляд на Атлантиду — и солёная вода поднимается вокруг статуй и мраморных колонн, пока Тревор и Изобилия вальсируют посреди легенды о погибшей цивилизации — золочёной резьбы и резных французских дворцовых столиков.

Море по диагонали у портретов в полный рост — королев с коронами — пока корабль наклоняется и цветы сыплются из ваз — розы и орхидеи — ветки имбиря — в воду, где плавают бутылки шампанского и танцуют Тревор с Изобилией.

Металлический скелет корабля, переборки обшивки стонали и содрогались.

Я спрашиваю, она собиралась утопиться?

«Не тупи», — говорит Изобилия, положив голову мне на грудь, вдыхая мой ядовитый запах. — «Тревор никогда не ошибался. В этом и была его проблема».

Никогда не ошибался в чём?

Тревор Холлис *видел сны*, говорит она мне.

Он видел сон, что самолёт разобьётся — Тревор говорил авиакомпании, но никто ему не верил.

Потом самолёт разбивался, и ФБР таскало его на допросы — всегда было легче поверить, что он террорист, чем что он экстрасенс.

Сны довели его до того, что он не мог спать — он не решался читать газеты или смотреть телевизор, иначе бы увидел

репортаж о двух сотнях людей, разбившихся в самолёте — о котором он знал, но не мог остановить.

Он не мог никого спасти.

«Наша мама убила себя потому, что у неё были такие же сны», — говорит Изибилия. — «Самоубийство — это наша старая семейная традиция».

Всё ещё танцую, я говорю себе: хоть что-то у нас общее.

«Он знал, что корабль затонет только наполовину. Какой-то клапан или ещё что-то испортится, и вода зальёт двигательные отсеки и часть больших залов на нижних палубах», — говорит Изибилия. — «Он знал из своих снов, что у нас будут часы, весь корабль — наш, и у нас будет вся еда и вино. А потом кто-нибудь придёт спасти нас».

Всё ещё танцую, я спрашиваю, он *потому* убил себя?

В ответ мне — только с минуту музыки.

«Ты представить не можешь, *как* это было красиво», — говорит Изибилия у моей груди. — «Это моё самое лучшее воспоминание».

Мы танцуем мимо статуй святых в чьей-то религии — для меня они просто камень в форме знаменитых незнакомцев.

«Вода Атлантики была такая чистая. Она текла вниз по главной лестнице», — говорит она. — «Мы только сняли туфли и продолжали танцевать».

Всё ещё танцую — считая раз два три — я спрашиваю, снятся ли *ей* эти сны?

«Иногда», — говорит она. — «Нечасто. Но всё чаще и чаще. Чаще, чем мне хотелось бы».

Я спрашиваю, так что, она убьёт себя, как её брат?

«Нет», — говорит Изибилия.

Она поднимает голову и улыбается мне.

Мы танцуем два три.

Она говорит: «Я не буду стрелять в себя. Я лучше наглотаюсь таблеток».

Дóма — мой запас правительственных антидепрессантов — успокоительных — транквилизаторов — седативных — ингибиторов МАО в коробке из-под конфет на холодильнике за моей золотой рыбкой.

Мы танцуем два три.

Она говорит: «Шучу».

Мы танцуем.

Она кладёт голову обратно мне на грудь и говорит: «Смотря, какими ужасными будут мои сны».

37

t h i r t y s e v e n
т р и д ц а т ь с е м ь

ТОЙ НОЧЬЮ Я СНОВА СТАЛ ОТВЕЧАТЬ НА ТЕЛЕФОННЫЕ звонки, потому что я так возбуждён, что должен пойти в центр города и что-нибудь украсть.

Это не для денег — это чтобы расслабиться — это нормально — психолог говорит, что это нормально — это сбрасывает сексуальное напряжение, говорит она — это совершенно естественно.

Ты находишь то, что хочешь — ты отслеживаешь это — ты хватаешь его — делаешь своим — а когда ты получил это, ты выбрасываешь его.

Это из-за психолога я начал воровать когда-то.

Психолог сказала, что я классический пример клептомана[†].

Она цитировала научные книги.

Я ворую, утверждала она, чтобы никто не украл мой пенис (Fenichel, 1945)^{††}.

Воровство было импульсом, который я не мог контролировать (Goldman, 1991).

[†] Клептомания — неодолимое, периодически возникающее болезненное влечение к воровству, встречается преимущественно у людей, страдающих психическими расстройствами, психопатией. Корыстной направленности при клептомании нет: похищенные вещи, как правило, не реализуются с извлечением выгоды.

^{††} Здесь и далее — ссылки на научные работы по психологии и психиатрии, по образцу ссылок в специализированной литературе (автор, год опубликования).

Я воровал из-за изменений настроения (McElroy и др., 1991) — неважно, что: туфли, клейкую ленту или теннисные ракетки.

Единственная проблема в том, что воровство больше не приносит мне такого удовольствия.

Может быть, это потому, что я встретил Изобилию.

Или, может быть, я встретил Изобилию потому, что мне надоела сексуальная жизнь из одних преступлений.

В последнее время я не ворую в магазинах — не в *обычном* смысле — вместо воровства вещей, я гуляю по городу, пока не найду брошенный кем-то чек.

Вы берёте чек и идёте в магазин, откуда он — вы притворяетесь, что просто пришли скупиться — пока не найдёте вещь, указанную в чеке — вы носите эту вещь немного по магазину — а потом используете чек, чтобы вернуть вещь и получить обратно деньги.

Лучше всего это, конечно, работает в больших магазинах — лучше работает с чеками, где указана покупка — не используйте грязные или старые чеки — не используйте один и тот же чек дважды — меняйте магазины.

Это похоже на воровство как онанизм на секс.

И конечно, магазины *все* знают о таких вещах.

Другой хороший способ — это ходить по магазину с большим стаканом содовой, в который можно бросить маленькие вещи.

Ещё можно купить банку дешёвой краски, приоткрыть крышку и бросить внутрь что-нибудь ценное — металл стенок не пропустит рентгеновские лучи на контроле.

Сегодня, вместо того, чтобы искать чек, я просто гуляю и пытаюсь придумать следующую часть плана как схватить Изобилию и сделать её своей — получить её — выбросить её — может быть.

Я должен учесть её ужасные сны.

Наши танцы вместе я тоже должен использовать.

Изобилия и я танцевали вместе большую часть дня — когда сменилась музыка, она научила меня основам ча-ча — перекрёстному шагу — повороту под рукой.

Она показала мне фокстрот.

Она сказала, что зарабатывает на жизнь ужасными вещами — хуже, чем я могу себе представить.

А когда я спросил, чем —

Она засмеялась.

Гуляя по городу, я нахожу чек на цветной телевизор.

Я должен чувствовать, как будто выиграл в лотерею, но я бросаю чек в мусорную урну.

Наверно, больше всего в танцах мне нравятся правила.

В мире, где всё позволено, вот твёрдые правила: фокстрот — это два медленных шага и два быстрых, ча-ча — это два медленных и три быстрых — хореография — дисциплина — это не обсуждается.

Это хорошие старые правила — как танцевать квадрат не меняется каждую неделю.

Для психолога, когда мы начинали десять лет назад, я не был обманщиком.

Сначала у меня были навязчивые идеи — она только что получила степень, и у неё были книги, которые это подтверждали.

Люди с навязчивыми идеями, сказала она, либо постоянно следят за своими вещами, либо чистят их (Rachman и Hodgson, 1980) — если верить ей, я относился ко второму типу.

На самом деле мне просто нравилось чистить и убирать, но всю жизнь меня учили слушаться.

Я только старался сделать так, чтобы её глупый диагноз выглядел правильным — психолог сказала мне симптомы — и я изо всех сил показывал их — и позволил ей себя вылечить.

После навязчивых идей у меня был посттравматический стресс.

Потом у меня была агорафобия[†].

У меня были приступы паники.

[†] Агорафобия — паническая боязнь больших открытых пространств.

Мои но́ги идут по тротуару одним медленным, двумя быстрыми шагами вальса, я считаю раз два три — сто́ит посмотреть, и среди голубей на тротуаре валяются чеки — этот принесёт сто семьдесят три доллара наличными.

Я выбрасываю его.

Через три месяца после того, как я впервые встретил психолога, у меня было диссоциативное расстройство личности, потому что я ей не рассказывал о своём детстве.

Потом у меня была шизофрeния[†], потому что я не хотел ходить в её еженедельные терапевтические группы.

Потом, раз она решила, что это будет хорошей мыслью, у меня был синдром Коро, когда веришь, что твой пенис становится всё меньше, и когда он исчезнет, ты умрёшь (Fabian, 1991; Tseng и др., 1992).

Потом она переключилась на синдром Дхат, когда переживаешь из-за того, что потеряешь всю сперму во время мокрых снов или когда пйсаешь (Chadda и Ahuja, 1990) — это основано на старом индуистском поверье, что нужно сорок капель крови, чтобы создать каплю костного мозга, и сорок капель костного мозга, чтобы создать каплю спермы (Akhtar, 1988) — она сказала, неудивительно, что я всё время такой уставший.

Сперма заставляет меня думать про секс заставляет меня думать про наказание заставляет меня думать про смерть заставляет меня думать про Изобилию Холлис.

Мы проделали то, что моя психолог называет «свободными ассоциациями».

Каждый раз, когда мы встречались, она ставила мне другой диагноз, который думала, у меня может быть, и давала мне книгу, чтобы я изучил синдромы. К следующей неделе у меня было всё, что нужно для этой болезни.

Неделю — пиромания^{††}. Неделю — нарушение половой самоидентификации.

[†] Шизофрения — наиболее распространённое психическое заболевание, которое характеризуется разнообразными проявлениями и имеет тенденцию к хроническому течению.

^{††} Пиромания — патологическая страсть к поджогам; влечение, в основе которого в большинстве случаев лежит ненормальное или нарушенное развитие структуры личности.

Она сказала, что я эксгибиционист[†], так что на следующей неделе я ей показал.

Она сказала, что у меня проблемы с вниманием, так что я всё время менял тему.

У меня была клаустрофобия^{††}, так что нам пришлось встречаться во дворе.

Гуляя по центру города — два медленных — два быстрых — два медленных шага ча-ча — в голове те же десять песен, которые мы слушали весь день.

Я пропускаю ещё один чек — всё равно что пять долларов на тротуаре — я танцую ча-ча мимо него.

Книга, которую психолог показывала мне, называется «Диагностический и статистический справочник психических нарушений» — мы называли её «ДСС», чтобы короче.

Она дала мне свои старые учебники, где внутри цветные фотографии моделей, которым платят, чтобы они выглядели счастливыми, держа над головой голых детей или гуляя рука об руку по пляжу на закате.

Для иллюстраций страдания моделям платили, чтобы они кололи незаконные наркотики в руки или сидели в одиночестве за столом с выпивкой.

Дошло до того, что психолог могла бы бросить ДСС на пол — и на какой странице он откроется, тем я буду болен через неделю.

Мы были счастливы с ней — какое-то время.

Она чувствовала, что движется вперёд каждую неделю — у меня был сценарий, как мне себя вести — это не было скучно — и она дала мне слишком много воображаемых проблем, чтобы я переживал из-за настоящих — каждый вторник психолог ставила мне диагноз, и это было моим новым заданием.

В первый год с ней у меня просто *не было времени* покончить с собой.

[†] Эксгибиционизм — половое извращение, проявляющееся в публичном обнажении половых органов с целью полового удовлетворения.

^{††} Клаустрофобия — паническая боязнь замкнутых пространств.

Мы прошли тест Стэнфорд-Бине, чтобы определить, какого возраста мой мозг. Мы прошли тест Векслера, тесты MMPI, MCMI и тест Бека про депрессии[†].

Психолог узнала обо мне *всё* — кроме *правды*.

Я просто *не хочу*, чтобы меня вылечили.

Какими бы ни были мои настоящие проблемы, я *не хочу*, чтобы их решали.

Мои маленькие секреты не хотят, чтобы их нашли и объяснили — мифами — детством — химией.

Я боялся — *что у меня тогда останется?*

Так что мои чувства и страхи никогда не показывались — я не хочу, чтобы с ними справлялись — я никогда не говорил о своей мёртвой семье — выразить моё горе, так она это называла — решить это — оставить это позади.

Психолог излечила меня от сотен синдромов — все придуманные — а потом провозгласила меня нормальным.

Она была счастлива и так гордилась — она направила меня к свету дня исцелённым — ты здоров — иди — чудо современной психологии.

Встань и иди.

Доктор Франкенштейн и его чудовище.

Это довольно умно, когда тебе двадцать пять.

Вот только побочный эффект: теперь я ворую.

Моё знакомство с kleptomанией было слишком приятным, чтобы его бросить — до сегодняшнего вечера.

Гуляя по городу сегодня — десять лет спустя — я подбираю ещё один чек — я выбрасываю его.

После десяти лет прятанья своих проблем, чтобы психолог не могла добраться до них, всё что мне нужно — это потанцевать

[†] Тест Векслера — вероятнее всего, один из классических тестов на IQ (коэффициент интеллектуальности). MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) и MCMI (Millon Clinical Multiaxial Inventory) — тесты-опросники широкого профиля, используемые для сбора информации о психическом и психологическом состоянии тестируемого.

ча-ча с какой-то девушкой — и даже моё воровство прошло — единственное, что я скрывал от психолога, излечено незнакомкой.

Это всё, что мы делали — танцевали.

Изобилия рассказывала про своего брата — как ФБР прослушивало его телефон — так что каждый раз, когда она говорила с ним, она слышала щёлк — щёлк — щёлк правительственного магнитофона.

Изобилия и я танцевали ещё.

Потом ей нужно было уходить — она пообещала — на следующей неделе — в следующую среду — в то же время — на том же месте — она снова придёт.

Сегодня вечером я иду фокстротом от фонаря до фонаря — в голове я слышу вальс — я помню Изобилию Холлис в моих руках — у моей груди — так я добираюсь до дома.

В квартире уже звонит телефон — это, наверно, шизофреники, параноики[†] и педофилы^{††}.

Я был там, хочу я им сказать. Я делал это.

Может быть, это Изобилия Холлис хочет рассказать, как танцевала со мной сегодня.

Готова поделиться вторым впечатлением от меня.

Может быть, она мне скажет по секрету, что такого ужасного делает, чтобы заработать деньги.

Из открывшихся дверей лифта я бегу, чтобы ответить на звонок.

Алло.

[†] Параноидальный синдром — стойкое психическое расстройство, проявляющееся систематизированным бредом (без галлюцинаций), который отличается сложностью содержания, последовательностью доказательств и внешним правдоподобием (идеи преследования, ревности, высокого происхождения, изобретательства, научных открытий, особой миссии социального преобразования и т.д.). Чаще всего употребляется как синоним «мании преследования».

^{††} Педофилия — половое извращение, проявляющееся в направленности полового влечения на детей.

Дверь в коридор ещё открыта позади меня — рыбку надо покормить — шторы всё ещё открыты — снаружи почти стемнело — любой может заглянуть ко мне.

Человек в телефоне говорит: «Пусть жизнь твоя будет исполнена служения».

Привычно я отвечаю: «Хвала и слава Господу за этот день трудов наших».

Он говорит: «Да приблизит труд твой всех вокруг к Небесам».

Я спрашиваю: «Кто это?»

И он говорит: «Умри, не оставив незавершённых дел».

И вешает трубку.

36

t h i r t y s i x

т р и д ц а т ь ш е с т ь

СЕКРЕТ ПОЛИРОВКИ ХРОМА: СОДОВАЯ ВОДА.

Чтобы почистить ручки столовых приборов из обычной или слоновой кости, нужно потереть их лимонным соком и содой.

Чтобы костюм не блестел, нужно потереть его смесью воды и нашатыря, а потом прогладить через влажную ткань.

Секрет приготовления мяса по-бургундски: добавить немного кожуры апельсина.

Чтобы удалить пятна вишни, нужно потереть их спелым помидором и стирать как обычно.

И ещё надо не паниковать.

Чтобы на брюках держалась складка, нужно вывернуть их наизнанку и натереть складку изнутри куском мыла, а потом вывернуть нормально и гладить как обычно.

Секрет в том, чтобы быть постоянно занятым.

Несмотря на то, что звонил убийца, я делаю всё как всегда.

Секрет в том, чтобы не дать воли воображению.

Всю ночь я чищу и убираю — я не могу спать — чтобы вычистить духовку, я кипячу кастрюлю с нашатырём — ещё один способ чтобы держалась складка это гладить через ткань смоченную водой и уксусом — я вычистил из-под ногтей сегодняшнюю грязь — если бы я не открыл окно, я бы задохнулся от кипящего нашатыря.

Я должен выговориться.

Психолог пропала.

Каждые десять минут я звоню психологу в офис и нахожу там только сообщение.

Первый раз за десять лет я ей позвонил, и это всё, что я слышу — «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала».

Я говорю, этот ненормальный псих, о котором она говорила, он звонил.

Всю ночь я звоню её в офис каждые десять минут.

«Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала».

Она должна меня как-то защитить.

И её автоответчик постоянно отключается, так что я перезваниваю.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Мне нужна вооружённая охрана полиции круглые сутки.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Кто-нибудь может быть в коридоре, а мне нужно в туалет.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Убийца, о котором она говорила — он знает, кто я — он звонил — он знает, где я живу — у него есть мой телефон.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Позвоните мне. Позвоните мне. Позвоните мне.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Если я покончу с собой к утру, то это *убийство*.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Если я умру, если убийца сунет моё голову в духовку, то это потому, что она не проверяет сообщения.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Слушай, говорю я автоответчику, это всё на самом деле, это не параноя и не бред, она же вылечила меня от этого, я помню.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

Это не шизоидная фантазия, это не галлюцинации, честное слово.

«Пожалуйста, оставьте сообщение».

А потом закончилась плёнка.

Всю ночь я не сплю и прислушиваюсь, загородив холодильником входную дверь — мне нужно в туалет, но не настолько, чтобы рисковать жизнью — люди идут по коридору — но никто не останавливается — никто не касается звонка всю ночь.

Телефон звонит и звонит, и я должен отвечать на случай, если это психолог — но это не она — это обычный парад человеческой ничтожности — беременные не замужем — хронические страдалцы — жертвы обстоятельств.

Им приходится исповедоваться очень быстро, пока я не положил трубку: мне нужно, чтобы телефон не был занят.

Каждый звонок наполняет меня радостью и ужасом, потому что это может быть психолог или убийца.

За и против.

Плюсы и минусы поднятия трубки.

Посреди моей паники звонит Изабилия, чтобы сказать: «Привет, это опять я. Я о тебе думала всю неделю. Я хотела спросить, если мы встретимся — это не против правил? Я правда хочу с тобой встретиться».

Всё ещё прислушиваясь к шагам — ожидая, что тень упадёт на полоску света под входной дверью — я приподнимаю штору на окне, чтобы посмотреть, нет ли кого на пожарной лестнице — я спрашиваю её, что с её другом? — она ведь должна была встретиться сегодня с ним.

«А, этот», — говорит Изабилия. — «Да, я с ним виделась сегодня».

И?..

«Он пахнет женскими духами и лаком для волос», — говорит Изабилия. — «Не понимаю, что мой брат в нём нашёл».

Духи и лак — это от поливки цветов, но я не могу ей сказать об этом.

«И ещё у него на ногтях остатки лака».

Это красная краска, которой я красил розы.

«И он ужасно танцует».

Сейчас убить меня — это уже будет лишнее.

«У него ужасные зубы, не гнилые, но маленькие и кривые».

Можете вонзить мне нож в сердце, всё равно уже поздно.

«И у него такие маленькие пухлые обезьяньи ручонки».

Сейчас быть убитым — это было бы чудесно.

«Это значит, что у него и член маленький».

Если Изобилия так и будет продолжать, у моей психолога будет одним пациентом меньше к утру.

«И он толстый», — говорит Изобилия. — «Не тучный, не жирный, но слишком толстый для меня».

На случай, если снаружи есть снайпер, я открываю жалюзи и стою — пухлый и тучный — в окне — пожалуйста, кто-нибудь с ружьём и прицелом, — пристрелите меня прямо тут — прямо в моё большое жирное сердце — прямо в мой маленький член.

«Он совсем не похож на тебя», — говорит Изобилия.

Мне кажется, она удивится, насколько мы похожи.

«Ты такой загадочный».

Я спрашиваю, если бы она могла что-то изменить в этом парне из мавзолея, что бы это было?

«Я бы убила его», — говорит она, — «чтобы он от меня отстал».

Ну, тут она не одна — всегда пожалуйста — запишите номер и станьте в очередь.

«Забудь про него», — говорит она, и её голос становится ниже. — «Я позвонила, потому что хочу удовлетворить *тебя*. Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала. Заставь меня сделать что-нибудь ужасное».

Это возможность.

Вот следующая часть моего большого плана.

Я попаду за это в Ад, но я говорю ей.

Этот парень, который тебе не нравится — я хочу, чтобы ты трахнула его и потом рассказала мне, на что это было похоже.

Она говорит: «Никогда и ни за что».

Тогда я кладу трубку.

Она говорит: «Стой. А что если я позвоню тебе и солгу? Я могу всё выдумать. Ты не узнаешь».

Нет, говорю я, я узнаю. Я догадаюсь.

«Я не буду спать с этим уродом».

А если она просто поцелует его?

Изобилия говорит: «Нет».

Ну хотя бы просто пойдёт с ним на свидание?

Они могут погулять где-нибудь днём — если его забрать из мавзолея, он может выглядеть лучше — можно взять его на пикник — развлечься как-нибудь.

Изобилия говорит: «И ты тогда со мной встретишься?»

Сто процентов.

35

t h i r t y f i v e

т р и д ц а т ь п я т ь

СОЛНЦЕ БУДИТ МЕНЯ, СКРЮЧИВШЕГОСЯ ВОЗЛЕ ПЕЧКИ, С
ножом для разделки мяса в кулаке.

Я чувствую себя так, что быть убитым — не так уж плохо.

Спина болит.

В глаза́ как песка насы́пали.

Я одеваюсь и еду на работу.

Я сижу на заднем сиденье автобуса, чтобы никто не сел
сзади меня с ножом — отравленной стрелой — удавкой из ро-
яльной струны́.

У дома, где я работаю, припаркована машина психолога
— по траве газона ходят обычные птицы — небо как обычно
голубое — ничто не выглядит подозрительным.

В доме психолог на четвереньках скребёт пол кухни хлор-
кой и нашатырём — так, что весь воздух вокруг неё пропитан
токсинами — так, что у меня слёзы из глаз текут.

«Надеюсь, ты не против», — говорит она и продолжает
скрести. — «Это было в твоём плане на сегодня, а я приехала
пораньше».

Хлорка плюс нашатырь равно смертельные пары́ хлора.

У меня слёзы текут по щекам, и я спрашиваю, она получи-
ла мои сообщения?

Психолог дышит в основном через сигарету, так что испа-
рения, наверно, для неё ничто.

«Нет, я позвонила, что заболела», — говорит она. — «Чистить так здорово. Там есть кофе и домашние булочки, которые я испекла. Почему бы тебе не расслабиться?»

Я спрашиваю, не хочет ли она послушать о моих проблемах? — записать что-нибудь? — убийца звонил мне прошлым вечером — я не спал всю ночь — он решил убить меня — боже упаси, пусть она даже не думает оставить пол в покое, встать и позвонить в полицию, чтобы меня спасти!

«Не волнуйся», — говорит она и обмакивает щётку в раствор. — «Количество самоубийств поднялось прошлым вечером. Вот, почему я не могу показаться в офисе этим утром».

Так, как она скребёт пол, он уже никогда не будет чистым — если соскрести глянцевое покрытие с винилового пола окислителем, как хлорка, то это жопа.

Когда она закончит, весь пол будет изъеден, и будет мгновенно пачкаться — но боже упаси меня говорить ей это, ведь она думает, что делает полезную работу.

Я спрашиваю, как количество самоубийств меня спасёт?

«Ты что, не понял? Мы потеряли одиннадцать человек прошлой ночью. Девять позапрошлой ночью. Двенадцать в ночь перед этим. Это как лавина».

Ну и?

«С такими цифрами каждую ночь, если и есть убийца, ему не нужно будет никого убивать».

Она начинает петь — может быть, это смертельные пары хлора начали действовать — она скребёт в ритм песне.

Она говорит: «Это неуместно, но — поздравляю».

Я последний Правоверный.

«Ты практически последний уцелевший».

Я спрашиваю, сколько ещё.

«В этом городе один», — говорит она. — «По стране — всего пять».

Давайте как раньше, говорю я ей, давайте достанем старый «Диагностический и статистический справочник психических нарушений» и выберем новый способ, как мне сходить с ума.

Давайте сделаем это.

Помянём прошлое.

Доставайте книгу.

Психолог вздыхает и смотрит на меня, с мокрым от слёз лицом, отражающегося в луже грязной воды на полу.

«Слушай», — говорит она. — «У меня есть *настоящая* работа здесь. Кроме того, ДСС пропал. Я не видела его несколько дней». Она скребёт и говорит: «Не то, чтобы я по нему скучала».

Ладно, это были нелёгкие десять лет.

Почти все её пациенты умерли, у неё стресс — она перегорела — выгорела — кремирована — она кажется себе неудачницей.

Она страдает тем, что называется «приобретённая беспомощность».

«Кроме того», — говорит она, скребя по ещё оставшемуся целому винилу, — «я не могу держать тебя за руку вечно. Если ты собираешься убить себя, я не могу тебя остановить, и это не моя вина. Если верить моим записям, ты совершенно уравновешен и счастлив. У нас есть результаты тестов. И эмпирическое доказательство».

Запах такой сильный, что у меня текут слёзы.

Она говорит: «Убей себя или не убивай, только хватит меня мучить. Я пытаюсь *свою* жизнь наладить».

Она говорит: «Каждый день в Америке люди убивают себя. И от того, что ты знаешь большинство их, это не становится хуже».

Она говорит: «Как думаешь, не пора тебе тоже покончить с собой?»

34

t h i r t y f o u r

т р и д ц а т ь ч е т ы р е

ГОВОРИЛИ, ЧТО ТЕБЕ ПРИДЁТСЯ РАЗДАВИТЬ ЛЯГУШКУ
голой рукой.

Придётся съесть живого червяка.

Чтобы доказать, что ты можешь повиноваться как Авраам, когда он пытался убить своего сына, чтобы угодить Богу, тебе придётся отрубить себе мизинец топором.

Так говорили.

А после этого тебе придётся отрубить мизинец кому-то другому.

Ты никогда не видел никого после крещения, так что ты не мог знать, есть ли у них мизинцы.

Ты не мог спросить их, приходилось ли им давить лягушек.

Прямо после крещения ты сидел в грузовик и уезжал из колонии — ты никогда её больше не видел — грузовик направлялся в ужасный мир вокруг, где для тебя уже было готово первое место работы.

Большой мир вокруг со всеми чудесными новыми грехами, и чем лучше ты проходил экзамены, тем лучше получал работу.

Ты мог догадаться, какими будут некоторые экзамены.

Церковные старейшины говорили тебе прямо, если ты был слишком худым или слишком толстым для своего роста — они отводили целый год перед крещением, чтобы ты довёл себя до совершенства.

Ты освобождался от работ по дому, так что мог посещать специальные занятия весь день — уроки Библии — уроки уборки — этикет — уход за тканями — и всё остальное.

Если ты был толстым, ты ел по специальной диете, чтобы похудеть, а если был слишком худым, то просто ел.

Целый год перед крещением каждое дерево — каждый друг — всё, что ты видел, имело ореол знания, что ты это больше не увидишь.

По тому, чему тебя учили, ты знал, о чём будут большинство экзаменов.

А кроме этого, говорили, что будет и такое, о чём мы не догадывались.

Мы знали по разговорам, что часть крещения придётся пройти голым — один из церковных старейшин положит на тебя руку и скажет покашлять — другой старейшина засунет тебе в зад палец — ещё один из церковных старейшин будет ходить за тобой, и записывать, как ты справляешься.

Ты не знал, как подготовиться к обследованию простаты.

Мы все знали, что крещение произойдёт в подвале дома собраний.

Дочери проходили крещение весной, в присутствии только церковных женщин.

Сыновья проходили осенью — только с мужчинами — которые скажут тебе залезть на весы — голым — и взвеситься — или попросить процитировать какой-то стих какой-то главы Библии.

Иов, глава четырнадцать, стих пять.

«Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдёт».

И ты должен был процитировать это, голым.

Псалом сто, Псалом Давида, стих два.

«Буду размышлять о пути непорочном... Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего».

Ты должен был знать, как сделать лучшие тряпки для пыли — вымочить их в разведённом скипидаре и высушить — ты должен был знать, насколько глубоко вкапывать шестифутовый

столб, чтобы он выдержал ворота пяти футов шириной — ещё один церковный старейшина завяжет тебе глаза и даст пощупать образцы тканей, чтобы ты определил, где хлопок — или шерсть — или смесь хлопка ещё с чем-то.

Ты должен был распознавать растения — пята — насекомых — делать мелкий ремонт — делать элегантные надписи на приглашениях.

Мы догадывались об экзаменах по тому, чему нас учили в школе — что-то узнавали от сыновей, которые не справлялись — иногда отец мог сказать по секрету что-нибудь, чтобы сын получил оценку повыше и работу получше — друзья говорили друг другу — и потом это знали все.

Никто не хотел опозорить свою семью.

И никто не хотел провести всю жизнь за удалением асбеста.

Церковные старейшины поставят тебя где-то, и ты должен будешь прочитать таблицу в другом конце зала собраний.

Церковные старейшины дадут тебе нитку с иглой и засекут, сколько тебе понадобится, чтобы пришить оторванную пуговицу.

Мы знали о работах, которые нам уготованы в ужасном мире вокруг, из того, что старейшины говорили, чтобы подбодрить или испугать нас.

Чтобы мы работали усерднее, они рассказывали о работе в садах, больших чем всё, что ты можешь представить себе по эту сторону Небес.

Некоторые работы были во дворцах, таких огромных, что ты забудешь, что ты в помещении.

Эти сады назывались «парками развлечений», а дворцы — «отелями».

Чтобы мы учились прилежнее, они рассказывали нам о работах, где ты проведёшь годы, вычерпывая выгребные ямы — сжигая мусор — разбрызгивая яды — удаляя асбест — это были такие ужасные места работы, говорили они, что ты будешь рад убежать и встретить смерть на полпути.

Были работы такие скучные, что ты захочешь покалечить себя, лишь бы не работать.

Так что ты запоминал каждую минуту из последнего года в церковной колонии.

Экклезиаст, глава десять, стих восемнадцать.

«От лениости обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечёт дом».

Плач Иеремии, глава пять, стих пять.

«Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха».

Чтобы бекон не сворачивался, его нужно охладить несколько минут в морозилке перед жаркой — нужно потереть кусок мяса сверху льдом, чтобы он не потрескался во время приготовления — чтобы кружева выглядели как новые, нужно прогладить их через вощёную бумагу.

Мы были заняты учёбой — нам нужно было запомнить миллион вещей — мы заучили половину Старого Завета — мы думали, что учёба сделает нас умнее.

А она сделала нас глупее.

Пока мы учили всё это, не было времени думать — и никто из нас никогда не думал о том, что это за жизнь — убирать за чужими людьми каждый день.

Мыть тарелки весь день.

Кормить чужих детей.

Стричь газон — весь день.

Красить дом.

Год за годом.

Гладить простыни.

Вечно.

Работа без конца.

Мы так боялись прохождения экзаменов, что никогда не задумывались о том, что будет *после* ночи крещения.

Мы так боялись самого страшного — давить лягушек — есть червяков — яды — асбест — что никогда не думали, какой скучной может быть жизнь даже если повезёт — и мы получим хорошую работу.

Мыть тарелки. Вечно.

Полировать серебро. Вечно.

Стричь газон.

И снова.

В ночь перед крещением мой брат Адам вывел меня на задний порог дома нашей семьи и сделал мне стрижку — и в каждой семье в церковной колонии с семнадцатилетним сыном ему делали такую же стрижку.

В ужасном мире вокруг, это называется «стандартизация продуктов».

Мой брат сказал мне не улыбаться, а стоять смиренно и отвечать на все вопросы чётко и ясно.

В мире вокруг это называется «маркетинг».

Моя мать укладывала мою одежду в сумку, чтобы я взял её с собой.

Мы все делали вид, что спим этой ночью.

«В ужасном мире вокруг», — сказал мне мой брат, — «были грехи, которые церковь не знает, чтобы запретить».

Я не мог дожждаться.

Следующим вечером было крещение, и мы сделали всё, чего ожидали, и больше ничего.

Как раз когда ты был готов отрубить мизинец себе и брату рядом — ничего не происходило.

Когда тебя осмотрели — ощупали — взвесили — поспрашивали о Библии и домашнем хозяйстве — тебе говорили одеваться.

Ты брал сумку с запасной одеждой внутри и выходил из зала собраний к грузовику, который ждал рядом.

Грузовик вёз тебя в ужасный мир вокруг — в ночь — и ты знал, что никого больше не увидишь — и никогда не узнаешь, какую оценку получил.

Даже если ты знал, что справился хорошо, это чувство было ненадолго.

Тебя уже ждало место работы.

Боже упаси тебе надоест, и ты захочешь большего.

Это была церковная доктрина, что остаток жизни ты будешь делать одну и ту же работу — будешь всё так же один — и ничто не поменяется — и так каждый день.

Это был успех.

Это была награда.

Стричь газон.

И стричь газон.

И стричь газон.

И снова.

33

t h i r t y t h r e e
т р и д ц а т ь т р и

В АВТОБУСЕ ПО ДОРОГЕ К НАШЕМУ ТРЕТЬЕМУ СВИДАНИЮ, мы с Изобилией сидим впереди какого-то парня, когда слышим шутку.

Температура восемьдесят, девяносто градусов[†] — слишком жарко для июня — окна автобуса открыты — меня мутит от запаха выхлопных газов машин — виниловые сиденья горячие — прикосновение к чему-нибудь обжигает адским пламенем.

Отправиться в центр города на автобусе — это идея Изобилии — на свидание, сказала она мне — в центр.

В середине дня куда-то едут только безработные — или работающие по ночам — или люди с синдромом Туретта^{††}.

Это свидание, на которое она должна пригласить меня, потому что не будет спать со мной и даже не поцелует, никогда и ни за что.

Не знаю, кто сидит сзади нас — обычный парень в рубашке — светлые волосы.

Если хотите — уродливый.

Я не помню.

[†] 80° по шкале Фаренгейта — около 26° по шкале Цельсия.

90° по шкале Фаренгейта — около 32° по шкале Цельсия.

^{††} Синдром Туретта — сложное психическое расстройство, характеризующееся нервными тиками, произвольными движениями и поступками (иногда достаточно сложными), неконтролируемыми бессмысленными, звукоподражательными или оскорбительными, непристойными высказываниями.

Автобус у мавзолея каждые пятнадцать минут — и мы только сели — мы встретились у склепа номер шестьсот семьдесят восемь — как всегда.

Я помню шутку.

Это старая шутка.

Дома проплывают снаружи автобуса — за припаркованными у обочины машинами — между заборами, отмечающими границы участков.

Шутник наклоняет голову между Изобилией и мной и шепчет: «Что труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко?».

Эти шутки кругом.

Какие бы несмешные, их нельзя не слышать.

Ни Изобилия, ни я не отвечаем.

И шутник шепчет: «Застраховать жизнь Правоверного».

По правде, никто не смеётся кроме меня, а я-то смеюсь, чтобы не выделяться — чтобы быть как все — я боюсь, как бы люди не узнали, что я — *уцелевший*.

Я избавился от церковного костюма много лет назад — Боже упаси, если я буду похож на тех ненормальных на Среднем Западе, которые убили себя, думая, что Бог призывает их домой.

Моя мать — мой отец — мой брат Адам — мои сёстры — мои братья — все они умерли и в земле — и над ними смеются.

Но я — жив.

И мне всё ещё нужно жить в этом мире и как-то уживаться с людьми.

Так что я смеюсь.

Потому что мне нужно делать что-то — нужен шум — крик — визг — плач — божба — вой.

И я смеюсь.

Это всё просто разные способы дать выход чувствам.

Эти шутки сегодня утром везде — надо что-то делать, чтобы не заплакать — никто не смеётся громче меня.

Шутник шепчет: «Почему Правоверный переходит дорогу?»[†]

Может, он говорит и не с нами.

«Потому что его так и не сбила ни одна машина».

На фоне — рёв автобуса, который толкает по дороге мотор в задней части, выплёвывающий вонючий дым.

Эти шутки сегодня — они из-за газеты.

Со своего места я вижу заголовок над гибом первой страницы — у пятерых людей, прячущихся за сегодняшним утренним выпуском — в заголовке сказано: «Уцелевших членов культа стало меньше».

В статье написано, что история трагедии церкви Правоверных и массового самоубийства, произошедшего десять лет назад, почти окончилась.

В статье написано, что последние уцелевшие члены церкви Правоверных, культа родом из Небраски, члены которого совершили массовое самоубийство, лишь бы не попасть под расследование ФБР, что осталось всего шесть членов культа.

Они не называют имён, но я должен быть одним из шести оставшихся.

Статья продолжается на девятой странице, но мысль вы поняли — если читать между строк, там написано: «Туда им и дорога».

Они не пишут о подозрительных смертях, похожих на убийства, ничего о том, как убийца, наверно, отслеживает оставшихся уцелевших.

Сзади меня шутник шепчет: «Как называется Правоверный со светлыми волосами?»

Про себя я отвечаю ему: «Труп». Я слышал все эти шутки.

«Как называется Правоверный с рыжими волосами?»

Труп.

«С тёмными?»

Труп.

[†] Аллюзия на классическую американскую загадку-анекдот: «Почему цыплёнок переходит дорогу?». Вариантов ответа множество.

Парень шепчет: «Какáя разница между трупом и Правоверным?»

Пара часов.

Парень шепчет: «Что кричит Правоверный, если рядом проезжает катафалк?»

Такси!

Парень шепчет: «Как узнать Правоверного в набитом автобусе?»

Кто-то хочет выйти на следующей остановке и нажимает на кнопку звонка.

Изобилия поворачивается и говорит: «Закрой рот», — она говорит достаточно громко, чтобы люди выглянули из-за газет — она говорит: «Ты прикалываешься над самоубийствами, над мёртвыми людьми, которых кто-то любил. Так что просто — *закрой рот*».

Она говорит это *действительно* громко.

Её серые глаза сверкают и кажутся серебряными — я спрашиваю себя, не Правоверная ли Изобилия — или она всё ещё переживает из-за смерти брата.

Она реагирует слишком бурно.

Автобус подъезжает к обочине, и шутник встаёт и по проходу направляется к выходу.

Как в церкви, мы сидим на скамейках по обе стороны прохода — парень стоит в очереди — его шерстяные штаны коричневые и мешковатые, которые в такую жару будет носить только уцелевший — подтяжки церковного костюма скрещены у него на спине — коричневый шерстяной пиджак перекинут через руку — он продвигается по проходу автобуса — останавливается, чтобы пропустить других — поворачивается — и прикасается к полям соломенной шляпы.

Я откуда-то его знаю — но это было так давно — он пахнет потом — шерстью — соломой фермы.

Я не помню, откуда я его знаю — я помню его голос — его голос — только голос.

Над моим плечом.

В телефоне.

«Умри, не оставив незавершённых дел».

Его лицо — это лицо, которое я вижу в зеркале.

Не успев подумать, я произношу его имя вслух.

Адам.

Адам Брэнсон.

Шутник говорит: «Я тебя знаю?»

Но я говорю — нет.

Очередь движется вперёд на несколько шагов, и он говорит: «Разве мы не росли вместе?»

И я говорю — нет.

В дверях автобуса она кричит: «Разве не брат ты мне?»

И я кричу — *нет!*

Он исчезает.

Луки́, глава двадцать два, стих тридцать четыре:

«Ты трижды отречёшься от того, что знаешь меня».

Автобус отъезжает.

Что сказать об этом парне.

Урод. Ужасный. Толстый. Неудачник. В лучшем случае — жалкий. Жертва.

Мой старший на три минуты брат.

Правоверный.

Если верить психологическим книгам о языке тела, Изобилия злится на меня за то, что я смеялся — она скрестила колени и го́лени — она смотрит в окно, как будто важно, *где мы*.

Если верить моему плану, сейчас я натираю пол в столовой — есть водостоки, которые нужно прочистить — есть пátна, которые нужно удалить с подъезда к дому, где я работаю — я должен чистить спаржу к сегодняшнему ужину.

Я *не должен* быть на свидании с красивой и разозлившейся Изобилией Холлис, даже если я убил её брата и она заводится

от моего гóлоса по телефону ночью и терпеть не может меня лично.

А правда в том, что не важно, что я *должен* делать — что *любой* уцелевший должен делать — если верить тому, чему мы верили в детстве, мы развращены и нечисты и во власти зла.

Воздух, который с нами едет в автобусе в центр, — горячий и густой, смешанный с солнечным светом и горящим бензином. Двигутся цветы, растущие в земле — розы, которые должны пахнуть — красные — жёлтые — оранжевые — бесцельно открытые. Шесть полос машин движутся как конвейер.

Покуда мы живы, всё что мы можем сделать — это ошибка.

Такое чувство, что ты не можешь ничего сделать.

Такое чувство, что тебя уже нет.

Исход.

Это не то, что мы путешествуем — нас перемещают.

Мы скорее просто ждём, это просто вопрос времени.

Я ничего не могу сделать правильно, и мой брат ищет меня, чтобы убить.

Домá центра начинают подступать к тротуарам — движение замедляется — Изобилия протягивает руку к звонку — дзинь — автобус останавливается напротив универмага, чтобы мы вышли.

Искусственные мужчины и женщины стоят в витринах в одежде — улыбаются — смеются — притворяются, что им весело.

Я *знаю*, каково это.

Одежда, которая на мне — только брюки и клетчатая рубашка — но они принадлежат человеку, на которого я работаю — всё утро я наверху пробовал разные комбинации одежды и спускался к психологу — пылесосащей абажуры — чтобы спросить, что она скажет.

Над дверями магазина большие часы — Изобилия смотрит вверх — она говорит мне: «Быстрее. Мы должны там быть в два часа».

Она берёт мою руку своей удивительно холодной рукой — холодной и сухой даже в такую жару — и мы проходим сквозь

двери в кондиционированный воздух — первый этаж с товарами на столах и в закрытых стеклянных шкафах.

«Нам нужно быть на пятом этаже», — говорит Изобилия.

Её рука крепко сжимает мою и тянет за собой — мы поднимаемся по эскалаторам — второй этаж, мужская одежда — третий этаж, женская — четвёртый этаж, для девушек — пятый, для женщин.

Всё такая же записанная музыка звучит из вентиляции в потолке — это ча-ча — два медленных шага и три быстрых — квадрат и поворот под рукой — Изобилия научила меня.

Это меньше похоже на свидание, чем я думал.

Ряды одежды, висящей на вешалках — хорошо одетые продавцы ходят вокруг — спрашивают, чем они могут помочь.

Всё это я уже видел раньше.

Я спрашиваю, она хочет танцевать здесь?

«Минуту», — говорит Изобилия. — «Просто подожди».

Прежде всего, мы чувствуем запах дыма.

«Назад», — говорит Изобилия и тянет меня в лес длинных платьев на продажу.

Потом звонки начинают звенеть — люди направляются к эскалаторам — бегут по ним как по обычным ступенькам, потому что эскалаторы остановились — люди идут по эскалаторам и это так же странно, как нарушить закон — продавщица пересыпает кассу в свою сумку — смотрит на людей возле лифтов, стоящих и смотрящих на указатели этажей — держащих большие глянцевые пакеты с ручками и со всякой всячиной внутри.

Звонки всё ещё звенят.

Дым достаточно густой, чтобы видеть, как он клубится под потолком у ламп.

«Не пользуйтесь лифтами», — кричит продавщица. — «При пожаре лифты не работают. Идите по ступенькам».

Она бежит к ним через лабиринт одежды на вешалках — с застёгнутой сумкой в руке — как четвертьзащитник с мячом — и ведёт их к двери с надписью «выход».

И потом — только мы с Изобилией.

Свет мигает и гаснет.

В темноте вокруг нас — дым и атлас — шероховатость бархата — холод шёлка — гладкость полированного хлопка — звонки звенят — все эти платья — колючесть шерсти — холод рук Изобилии — в моей — она говорит: «Не волнуйся».

Маленькие зелёные огоньки светят нам через темноту, говоря: «Выход».

Звонки звонят.

«Спокойно», — говорит Изобилия.

Звонки звонят.

«В любой момент», — говорит Изобилия.

Яркий оранжевый вспыхивает в темноте по другую сторону зала, превращая всё в странные формы оранжевого на чёрном — платья и брюки между огнём и нами — как чёрные фигуры людей с руками и ногами в огне.

Фигуры тысяч горящих и корчащихся людей перед нами — звонки звенят так громко, что это чувствуешь кожей — и только холодная рука Изобилии удерживает меня.

«В любой момент», говорит она.

Огонь так близко, что его чувствуешь кожей — дым такой густой, что его чувствуешь на языке — ближе чем в двадцати футах пугала женской одежды начинают коптеть и сползать на пол — дышать становится трудно — слезятся глаза.

И звонки звенят.

Мою одежду как будто гладят прямо на мне.

Огонь так близко.

Изобилия говорит: «Разве не здорово? Разве тебе не нравится?»

Я поднимаю руку и заслоняю лицо от жара горячей рядом с нами синтетики.

Так различают ткани.

Нужно выдернуть несколько нитей и поддержать над пламенем — если они не горят, это шерсть — если они горят медленно, это хлопок — если они вспыхивают как факел вешалки

рядом с нами — ткань синтетическая — полиэстер — нейлон — искусственный шёлк.

Изобилия говорит: «Сейчас».

Становится холодно — раньше, чем я могу что-то понять — мокро — вода льётся вниз — оранжевые огни мигают — гаснут — исчезают — дым — исчезает — из воздуха.

Один за другим включаются прожекторы — чтобы показать — что осталось — в чёрных тенях и белом сиянии — звонки затихают — музыка ча-ча снова звучит.

«Я видела во сне, как это произойдёт», — говорит Изобилия. — «Мы не были в опасности».

Это как они с Тревором на океанском лайнере, затонувшем наполовину.

«На следующей неделе», — говорит Изобилия, — «частная пекарня взорвётся. Хочешь пойти посмотреть? Я вижу три или четыре человека убитыми».

Мои волосы — её волосы — моя одежда — её одежда — на нас нет ни сажи, ни ожогов.

Даниил, глава три, стих двадцать семь:

«Огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них».

Я *был* там, думаю я. Я *делал* это.

«Быстрее», — говорит она. «Пожарные будут здесь через несколько минут».

Она берёт мою руку в свою и говорит: «Не дадим пропасть этому ча-ча зря».

Раз, два, ча ча ча. Мы танцуем три четыре ча ча ча.

Остатки сгоревших рук и ног одежды валяются на полу вокруг нас — потолок свисает — вода всё ещё льётся — всё мокрое — мы танцуем — раз два ча ча ча.

И так нас и находят.

32

t h i r t y t w o

т р и д ц а т ь д в а

ЕСТЬ ЗАПРАВКА, КОТОРАЯ ВЗОРВЁТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе.

Есть зоомагазин, где все канарейки, весь их запас в сотни канареек, улетит.

Изобилия видела это в одном сне за другим.

Есть отель, где прямо сейчас протекает труба.

Неделями вода просачивалась через стёны — гипс растворялся — дерево гнило — металл ржавел — и в три часа четыре минуты — в её сне — звон маленьких хрустальных подвесок — облако гипсовой пыли — какое-то крепление сорвётся с ржавого болта.

Во сне Изобилии шляпка болта приземляется — хлоп! — на ковёр рядом с пожилым мужчиной с чемоданами — он поднимает её и держит на ладони, разглядывая ржавчину и сияющую сталь на изломе.

Женщина, тянущая чемодан на колёсиках, останавливается рядом с мужчиной и спрашивает, стоит ли он в очереди.

Пожилый мужчина говорит: «Нет».

Женщина говорит: «Спасибо».

Клерк за стойкой звонит в звонок и говорит: «Следующий!»

Посыльный выходит вперёд.

В этот момент люстра падает.

Вот, какими точными стали сны Изобилии, и в каждом сне она видит новые подробности.

Женщина — в красном костюме — жакет и юбка с золотым поясом-цепочкой от Christian Dior — у пожилого мужчины голубые глаза — на пальцах его руки, держащей шляпку болта, золотое обручальное кольцо — у посыльного проколото ухо, но сережку он снял.

За клерком у стойки, говорит Изабилия, сложные часы в стиле французского барокко в корпусе из золочёного свинца с морскими ракушками и дельфинами, поддерживающими циферблат.

Время три часа дня и четыре минуты.

Изабилия рассказывала мне всё это с закрытыми глазами — вспоминая или придумывая, не знаю.

Первое Фессалоникийцам, глава пять, стих двадцать:

«Пророчествования не презирайте».

Люстра ярко вспыхнет при падении, так что все внизу посмотрят вверх.

Что будет потом, она не знает: она всегда просыпается — её сны всегда заканчиваются в момент, когда падает люстра — или разбивается самолёт — или сходит с рельс поезд — ударяет молния — начинается землетрясение.

Она начала вести календарь будущих катастроф.

Она показывает его мне.

Я показываю ей мой план, что составляют люди, на которых я работаю.

На следующей неделе у неё взрыв в пекарне — улетевшие канарейки — пожар на заправке — люстра в отеле.

Изабилия говорит мне выбирать — мы упакуем завтрак и весело проведём день.

На следующей неделе я должен стричь газон — дважды — полировать медные инструменты для камина — проверить сроки хранения всего, что в морозильнике — повернуть консервные банки в кладовке — купить для людей, на которых я работаю, подарки друг другу на годовщину свадьбы.

Я говорю — конечно. Где она хочет.

Это было как раз после того, как пожарные нашли нас танцующими ча-ча среди сгоревшего отдела женской одежды

на пятом этаже, без единого следа на нас. — после того, как они сняли наши показания и заставили подписать бланки страхования, снимающие с них ответственность — они проводили нас по улице.

Мы были снаружи, когда я спросил у Изобилии, *почему*.

Почему она не позвонила кому-нибудь и не предупредила их о несчастье?

«Потому что никто не хочет плохих новостей», — говорит она и пожимает плечами. — «Тревор говорил людям каждый раз, когда видел сон, и от этого у него были только неприятности».

Никто не верит в такой невероятный дар, говорит она, они обвиняли Тревора в том, что он террорист или анархист.

Пироманьяк[†], если верить «Диагностическому и статистическому справочнику психических нарушений».

В другом веке его бы обвинили в том, что он колдун.

Так что Тревор убил себя.

С небольшой помощью вашего слуги.

«Вот почему я больше *не говорю* людям» — говорит Изобилия. — «Если бы сгорел сиротский приют, я бы, может быть, сказала, но эти люди убили моего брата, так с чего я буду им помогать?»

Я могу спасти человеческие жизни, сказав Изобилии правду, — это я убил её брата.

Но я этого не делаю.

Мы сидим на остановке и не говорим, пока не показался автобус.

Она записывает мне свой телефонный номер на чеке, который подобрала с земли, он стоит триста с лишним долларов, если я его отнесу обратно в магазин и сделаю всё что надо.

Изобилия говорит выбрать происшествие и перезвонить ей — автобус увозит её куда-то — к работе — обеду — сну.

[†] Пироманьяк — человек, страдающий *пироманией* (см. примеч. к главе 37), испытывающий навязчивую патологическую страсть к поджогам.

Если верить моему плану, я чищу плинтусы — я подрезаю кусты — прямо сейчас — я стригу газон — я чиню машины — я должен гладить — но я знаю, что *психолог* делает мою работу.

Если верить «Диагностическому и статистическому справочнику психических нарушений», я должен пойти в магазин и что-нибудь украсть — я должен выплеснуть накопившуюся сексуальную энергию.

Если верить Изобилии, я должен упаковать завтрак, чтобы поесть, пока мы смотрим, как кто-то умрёт — я могу представить нас на бархатном диванчике в вестибюле отеля, пьющих чай во вторник на местах в первом ряду.

Если верить Библии, я должен не знаю что.

Если верить доктрине Правоверных, я должен быть мёртв.

Ничто из этого меня не прельщает, так что я просто гуляю по городу.

Около частной пекарни пахнет хлебом, где через пять дней, Изобилия говорит — бабах!

В зоомагазине сотни канареек мечутся из стороны в сторону в своей тесной вонючей клетке, на следующей неделе все они будут свободны. И что?

Я хочу сказать им, оставайтесь в клетке.

Есть вещи получше, чем свобода.

Есть вещи похуже, чем прожить долгую скучную жизнь в чьём-то доме, а потом умереть и отправиться в канарейковый Рай.

На заправочной станции — которая, говорит Изобилия, взорвётся — работники качают бензин — скорее счастливые, чем нет — молодые — не знающие о том, что на следующей неделе будут мёртвыми — или безработными — смотря чья будет смена.

Темнеет довольно быстро.

Снаружи отеля — через большие стёкла окон вестибюля — люстра нависает над жертвами и жертвами — женщина с мопсом на поводке — семья: мать, отец, три маленьких ребёнка — часы за стойкой говорят, что до трёх часов дня четырёх минут

следующего вторника стоять здесь будет безопасно — целыми днями — но ни секундой дольше.

Можно пройти мимо швейцаров в золотых ливреях и сказать менеджеру, что люстра упадёт.

Все, кого он любит, умрут.

Даже он умрёт когда-нибудь.

Бог вернётся, чтобы судить нас.

Все его грехи потянут его в Ад.

Ты можешь сказать людям правду, но тебе не поверят, пока это не произойдёт — пока не будет поздно — сейчас правда их только разозлит и доставит тебе много неприятностей.

Так что ты просто идёшь домой.

Есть ужин, который нужно приготовить — есть рубашка, которую на завтра нужно выгладить — ботинки, которые нужно почистить — тарелки, которые нужно вымыть — новые рецепты, которыми нужно овладеть.

Есть что-то, что называется «свадебный суп», для приготовления его нужно шесть фунтов костного мозга.

В этом году модно есть внутренности животных.

Люди, на которых я работаю, хотят есть всё по последней моде — почки — печень — раздутые мочевые пузыри свиней — средний желудок коровы, фаршированный водяным креслом и фенхелем, как коровьей жвачкой — они хотят животных фаршированных другими самыми неожиданными животными — цыплят фаршированных кроликами — карпов фаршированных ветчиной — гусей фаршированных лососем.

Есть так много, для чего я должен вернуться домой и подготавливаться.

Чтобы по-модному приготовить бифштекс, нужно покрыть его полосками жира какого-нибудь другого животного, чтобы защитить, пока он готовится.

Вот, чем я занимаюсь, когда звонит телефон.

Конечно, это Изобилия.

«Ты был прав про этого странного парня», — говорит она.

Я спрашиваю, на счёт чего.

«Ну этот, парень Тревора», — говорит она. — «Ему правда нужен кто-то. Я взяла его на свидание, как ты хотел, и один из этих сектантов был в автобусе с нами. Они, наверно, близнецы. Они очень похожи».

Я говорю, может быть, она ошибается.

Большинство этих членов культа мертвы — они были тупыми психами — и почти все они мертвы — это в газетах — всё, во что они верили, оказалось враньём.

«Этот парень в автобусе спросил, не знакомы ли они, и парень Тревора сказал, нет».

Тогда они не знакомы, говорю я, он должен был бы узнать своего брата.

Изобилия говорит: «В том-то и дело. Он узнал этого парня. Он даже сказал имя, Брэд, Тим или что-то такое».

Адам.

Я говорю, ну и что?

«А то, что это было такое жалкое, неубедительное отрицание», — говорит она. — «Это ясно, что он хочет быть нормальным счастливым человеком. Мне было так его жалко, что я даже дала ему свой номер телефона. Мне жаль его. Я хочу сказать, я хочу помочь ему смириться с прошлым. Кроме того», — говорит Изобилия, — «я чувствую, что с ним случится какое-то страшное дерьмо».

Какое дерьмо, спрашиваю я. Что она имеет в виду — дерьмо?

«Несчастье», — говорит она. — «Это ещё неопределённо. Трагедия. Боль. Массовый убийца. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, это длинная история».

Её сны.

Заправка — канарейки — люстра в отеле — а теперь — я.

«Слушай», — говорит она. — «Нам всё ещё нужно договориться встретиться, только не сейчас».

Почему?

«Моя проклятая работа, там свои проблемы сейчас, так что если кто-то по имени доктор Амброуз позвонит тебе и спросит Гвен, скажи что не знаешь меня. Скажи, что никогда меня не видел, о'кей?»

Гвен?

Я спрашиваю, кто такой доктор Амброуз?

«Это просто имя», — говорит Изобилия — говорит Гвен. — «Он не настоящий доктор, я думаю. Он скорее мой агент. Это не то, чем мне бы хотелось заниматься, но я работаю по контракту на него».

Я спрашиваю, что она делает по контракту?

«Это не совсем незаконно. У меня всё под контролем. Почти всё».

Что?

И она говорит мне, и сирены и сигнализации начинают звучать.

Я чувствую себя всё меньше и меньше.

Сирены и мигающие огни и сигнализации вокруг меня.

Я чувствую всё меньше и меньше.

А ЗДЕСЬ, В РУБКЕ ПОЛЁТА ДВАДЦАТЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ,
первый из четырёх двигателей только что выгорел.

Мы здесь прямо в начале конца.

31

t h i r t y o n e

т р и д ц а т ь о д и н

ЧАСТЬ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОЕГО самоубийства — это смешать мне ещё один джин с тоником, пока я говорю по междугороду.

Продюсер «Шоу Дона Уильямса» на второй линии — все линии мигают — кто-то от Барбары Уолтерс занимает третью линию.

В первую очередь мне нужен кто-то, чтобы с этим разобраться.

Тарелки от завтрака сложены в мойке и сами не моются.

В первую очередь мне нужен хороший агент.

Наверху постели всё ещё не убраны.

Есть сад, который нужно перекрасить.

В телефоне тот самый агент переживает, вдруг я не единственный уцелевший.

В этом всё дело, говорю я, психолог не заскочила бы на утренний джин с тоником, если бы ночью не было новых самоубийств.

Здесь на кухонном столе у меня разложены папки со всеми остальными делами.

Вся правительственная программа поддержки уцелевших закончилась тем, что называется «провал».

Теперь нужно предотвращать самоубийство психолога, которая смешивает мне джин с тоником.

Чтобы быть уверенной, что я не умру при ней, психолог наблюдает за мной.

Чтобы она не мешала, я говорю ей порезать лимон — принести мне сигарет — смешайте мне ещё выпить, говорю я — или я убью себя — я клянусь, вот пойду в ванную и порежу все вены бритвой.

Психолог приносит мне новый джин с тоником — мы сидим за кухонным столом — и она спрашивает, не хочу ли я опознать телá — это должно помочь мне покончить с прошлым — и кроме того, говорит она — это мой народ — моя плоть и кровь — мои друзья и родственники.

Она раскладывает на кухонном столе всё те же десятилетней давности правительственные фотографии — на меня смотрят сотни мёртвых людей — лежащих плечом к плечу рядами на земле — их кожа чёрная от цианида[†] — их телá так раздулись, что домотканая одежда им мала.

Пепел к пеплу. Прах к праху.

Весь процесс переработки должен быть так же лёгок, но это не так.

Телá, лежащие здесь, твёрдые и вонючие.

Это психолог пытается разбудить во мне эмоции — я подавляю своё горе, говорит она.

Не хочу ли я заняться опознанием этих мёртвых людей?

Если где-то есть убийца, говорит она, я могу найти человека, который должен быть изображён здесь мёртвым, а его нет.

Спасибо, говорю я. Нет, спасибо.

Даже не смотря, я знаю, что ни на одной фотографии не будет мёртвого Адама Брэнсона.

Когда психолог садится, я спрашиваю, не против ли она закрыть шторы.

Снаружи фургон телевизионщиков, снимающий сквозь окно кухни — передний план из сложенных грязных тарелок — это не то, как я хочу выглядеть в вечерних новостях — грязные тарелки в мойке — я и психолог, сидящие за кухонным столом — с телефоном и коричневыми папками, разложенными на

[†] Цианиды — крайне токсичные соли синильной кислоты.

кухонном столе в жёлто-белые квадраты — джин с тоником в руках в десять утра.

Голос диктора новостей будет говорить, как единственный уцелевший член последнего американского культа смерти, Правовверных, наблюдает за чередой самоубийств, которые одну за другой забирают жизни оставшихся уцелевших.

Потом реклама.

Психолог пересматривает дела последних пациентов — Брэннон, снят с учёта — Уокер, снят с учёта — Филиппс, снят с учёта — все сняты с учёта — все — кроме меня.

Прошлой ночью девушка, последняя уцелевшая из Правовверных, она наелась земли — этому даже название есть, это называется «эзофагия» — это было популярно у африканцев, привезённых в рабство в Америку — нет, «популярно» — это, наверно, не то слово.

Она стала на колени на заднем дворе дома, где служила одиннадцать лет, и зачерпывала ложкой землю у куста розы, отправляя её в рот — потом произошло что-то, называющееся «разрыв пищевода» — потом перитонит — и к восходу она была мертва.

Девушка перед ней умерла с головой в духовке.

Парень перед ней перерезал себе горло.

Это именно то, чему учила церковь.

Однажды по прихоти королей мира сего нас уничтожат — о ужас! — и армии мира идти будут на нас — какой кошмар! — и чистейшие дети Божьи должны будут покинуть мир сей, от руки своей.

Исход.

Да, и все не представшие перед Господом в первых рядах должны последовать как можно быстрее.

Так что последние десять лет — один за другим — мужчины и женщины — горничные и садовники — и рабочие заводов по всей стране — сдавались.

Несмотря на программу поддержки уцелевших.

Кроме меня.

Я спрашиваю психолога, не хочет ли она заправить постели? — если я сделаю ещё одно одеяло уголком — я клянусь, я возьму и засуну голову в миксер — а если она согласна, я обещаю быть жив, когда она вернётся.

Она идёт наверх.

Я говорю, спасибо.

После того, как психолог рассказала мне, что все в церковной колонии Правоверных мертвы, первым делом я начал курить.

Самая умная вещь, которую я сделал в жизни, — это я *начал курить*.

Когда психолог заглянула и сказала — проснись и пой, последняя из Правоверных покинула нас сегодня ночью — тогда я сел на кухне и решил *выпить в порядке самоубийства*.

Церковная доктрина велит мне убить себя — но она не говорит, что это должна быть поспешная *мгновенная* смерть.

Газеты всё ещё на крыльце — тарелки после завтрака не мыты — люди, на которых я работаю, сбежали подальше от внимания — это после того, как я годáми перематывал их прокатное порно и замачивал их пýтна.

Я им для того, чтобы заправлять постели и стричь газон.

По правде, они наверно уехали, чтобы не прийти как-нибудь вечером домой и не найти меня покончившим с собой посреди кухни.

Четыре телефонных линии всё ещё заняты — «Шоу Дона Уильямса» — Барбара Уолтерс — агент говорит достать карманное зеркальце и тренироваться выглядеть честным и невинным.

На одной из коричневых папок моё имя.

На верхнем листе вся основная информация о людях, уцелевших в результате трагедии колонии Правоверных.

Агент говорит: реклама продуктов.

Агент говорит: моя собственная религиозная передача.

В папке задокументировано, как более двухсот лет американцы считали Правоверных самыми благочестивыми, самыми трудолюбивыми, скромными, разумными людьми на земле.

Агент говорит: миллион долларов аванса за мою биографию, в твёрдой обложке.

Второй лист рассказывает, как десять лет назад местный шериф вручил старейшинам церкви Правоверных ордер на обыск — это было обвинение в жестоком обращении с детьми.

Было какое-то сумасшедшее анонимное заявление, что семьи в церковном округе рожают детей — и рожают детей — и рожают детей — и ни у одного из этих детей не было документов — ни свидетельства о рождении — ни номеров социального страхования — *ничего*.

Все роды происходили на территории церковного округа — все эти дети посещали школы церковного округа — ни одному из этих детей не позволялось жениться или заводить детей — и когда им исполнялось семнадцать, их крестили как взрослых членов церкви и отсылали в мир.

Теперь всё это предано тому, что называется «гласность».

Агент говорит: моя собственная видеошкола.

Агент говорит: моё фото на обложке журнала «People».

Кто-то передал эти слухи работнику службы защиты детей, и вскоре шериф и две машины его помощников высадились около церковного округа Правоверных в округе Болстер, штат Небраска, чтобы посчитать детей и убедиться, что всё законно.

Это шериф позвонил в ФБР.

Агент в телефоне говорит: моё ток-шоу.

ФБР узнало, как детей отсылали в мир, где их считали трудовыми миссионерами Правоверных.

Это было правительственное расследование, после которого церковь Правоверных назвали «белым рабством».

Это люди с телевидения назвали церковь Правоверных «культом детского рабства».

Правоверные надсмотрщики в мире вокруг устраивали этих детей — находили им работу — физический труд или помощь по дому — за наличные — временные работы, которые могли тянуться годами.

Газеты назвали это «церковью рабского труда».

Церковный округ получал деньги, а мир вокруг получал армию чистых честных христиан — горничных — садовников — посудомоек — маляров — которых вырастили и научили верить в то, что единственный способ для них сохранить душу — это работать до самой смерти за еду и крышу над головой.

Агент говорит мне: персональные колонки в нескольких газетах.

Когда ФБР приехало арестовывать старейшин, они обнаружили всё население церковной колонии в закрытом доме собраний.

Может быть, тот же, кто пустил сумасшедший слух о детях-рабах — может быть, этот же человек предупредил колонию о правительственном вторжении.

Все фермы в округе Болстен были заброшены.

Позже стало известно, что все коровы — все свиньи — все цыплята — голуби — кошки и собаки — были мертвы — даже рыбки в аквариумах были отравлены.

Каждая маленькая прелестная ферма Правоверных с белым домом и красным амбаром была тихой, когда проезжала национальная гвардия.

Каждое поле картофеля было тихим и пустым под голубым небом с несколькими облаками.

Агент говорит: моё особое шоу на Рождество.

Если верить отчёту в коричневой папке на столе — психолог наверху заправляет постели — жар зажигалки, когда я подкуриваю новую сигарету — практика отправки трудовых миссионеров длилась более сотни лет.

Правоверные становились всё богаче — покупали всё больше земли — рожали всё больше детей — больше детей исчезало из долины каждый год — девочки весной, мальчики осенью.

Агент говорит: моя собственная серия парфюмерии.

Агент говорит: моё собственное издание Библий с автографами.

Миссионеры были невидимы в мире вокруг.

Церковь не трудилась платить налоги.

Если верить церковной доктрине, самое праведное, что ты мог сделать, — это делать свою работу и надеяться, что проживёшь достаточно долго, чтобы принести церкви прибыль.

Вся жизнь была тяжкой ношей — застилать чужие постели — заботиться о чужих детях — готовить чужие обеды.

Вечно.

Работа без конца.

План был мало-помалу достичь рая Правоверных, скупая всю землю акр[†] за акром.

Пока фургоны ФБР не подъехали и не остановились за официальных триста футов до дверей зала собраний церковного округа.

Воздух был неподвижен, если верить официальному расследованию бойни, ни одного звука не доносилось из церкви.

Агент говорит: вдохновляющие аудиозаписи.

Агент говорит: «Caesar's Palace»^{††}.

Это тогда весь мир начал называть Правоверных «Ветхозаветным культом смерти».

Дым сигареты проходит по горлу и застывает плотным комком в моей груди.

Папки психолога документируют боровшихся.

Клиент программы поддержки уцелевших номер шестьдесят три — Послушница Паттерсон — возраст около двадцати девяти — покончила с собой, выпив моющее средство, через три дня после событий в церковной колонии.

Клиент программы поддержки уцелевших Труженик Смитсон — возраст сорок пять — покончил с собой, выбросившись из окна здания, где работал привратником.

Агент говорит: моя собственная горячая телефонная линия спасения 1-976.

[†] Акр — единица площади в английской системе мер, равная 0,4047 гектара

^{††} Один из крупнейших в США концертных залов, использующийся для выступлений звёзд.

Дым внутри меня горячий и плотный, это похоже на то, как если бы у меня была душа́.

Агент говорит: моя собственная реклама.

Чёрные и раздутые — те, кто сдался — длинные ряды людей, которых агенты ФБР выносили из зала собраний — они лежали там чёрные, в последнем единении с цианидом — это люди, которые предпочли умереть, чем встретиться с теми, кто приближался к ним, как бы они себе это ни представляли.

Они умерли вместе, сжимая руки друг друга так сильно, что агентам ФБР пришлось ломать им пальцы, чтобы разнять их.

Агент говорит: знаменитость, суперзвезда.

Если верить церковной доктрине, то сейчас, пока психолога нет, я должен взять нож из мойки с тарелками и перерезать себе горло, я должен выпустить себе кишки на кухонный пол.

Агент говорит, что разберётся с «Шоу Дона Уильямса» и Барбарой Уолтерс.

Среди мёртвых — коричневая папка с моим именем.

В ней я пишу:

«Клиент программы поддержки уцелевших номер восемьдесят четыре потерял всех, кого любил, и всё, что придавало его жизни смысл. Он устал и всё время спит. Он начал пить и курить. У него нет аппетита. Он редко моется и неделями не бреется.

Десять лет назад он был трудолюбивой солью земли. Всё, чего он хотел, — попасть на Небеса. Сегодня он сидит здесь, и всё в мире ради чего он трудился — потеряно.

Все правила и законы — исчезли.

Ада нет. Рая нет.

Он понимает, что теперь можно *всё*.

И теперь он *хочет всё*».

Я закрываю папку и кладу её обратно в стопку.

Между нами, спрашивает агент, есть ли шанс, что я тоже скоро покончу с собой?

Лица мёртвых людей из моего прошлого смотрят на меня с правительственных фотографий сквозь джинс с тоником.

В такие моменты вся твоя жизнь — это тяжкая ноша.

Я освежаю выпивку.

Я закуриваю ещё одну сигарету.

Правда: сейчас моя жизнь пуста.

Я свободен.

И я унаследую двадцать тысяч акров в центральной Небраске.

Я чувствую себя как десять лет назад — когда я ехал в центр с полицией — и снова я слаб — с каждой минутой я удаляюсь от Спасения — в будущее.

Убить себя?

Спасибо, говорю я. Нет, спасибо.

Вот давайте с этим торопиться не будем.

30

t h i r t y

т р и д ц а т ь

ВСЁ УТРО Я ЗАНЯТ ТЕМ, ЧТО ГОВОРЮ ПОЛИЦИИ, ЧТО оставил психолога живой и отскребающей кирпичи вокруг камина в кабинете.

Проблема в том, что заслонка не открывается как следует и дым идёт в комнату.

Люди, на которых я работаю, жгут сырое дерево.

Я говорю полиции, что я невиновен.

Я никого не убивал.

По плану я должен быть скрести кирпичи вчера.

Вот, как прошёл мой день.

Сначала полиция допытывалась, почему я убил свою психолога — потом агент позвонил, чтобы пообещать мне весь мир — Изобилия — Изобилия — Изобилия — не объявлялась.

Скажем так, мне не нравится, как она зарабатывает себе на жизнь.

Плюс — я всё ещё не знаю ничего о несчастье в моём будущем.

Так что я запираюсь в ванной — пытаюсь понять, что происходит — в зелёной ванной на первом этаже.

Моё заявление для полиции: во-первых, психолог была мертва — лицом вниз — на кирпичах у камина в кабинете — в чёрных шортах, помявшихся когда она упала — в белой задравшейся рубашке с рукавами, задравшимися до локтей — в ком-

нате было не продохнуть от смертельных паров хлора — и губка была всё ещё зажата в её мёртвой белой руке.

Перед этим я влез через подвальное окно, которые мы оставили открытым, чтобы я мог приходить и уходить без телевизионщиков бросающихся на меня с камерами и стаканчиками кофе — с профессиональным вниманием — как будто им платят достаточно, чтобы они искренне заботились — как будто это не обычная история, которую им нужно осветить раз в два дня.

А это именно так.

Так что я закрылся в ванной, и теперь полиция под дверью спрашивает, тошнит ли меня, и говорит, что человек, на которого я работаю, кричит на них по громкой связи и требует инструкций, как есть салат.

Полиция спрашивает, подрались ли мы с психологом.

Посмотрите в моём плане на вчера, говорю я им.

У нас не было времени.

С восьми утра, когда я начинаю работу, я должен был заделывать щели в окнах — план лежит открытый на кухне около телефона — я должен был красить стенные панели.

С восьми до десяти я отскребал масляные пятна на подъезде — с десяти до ланча — подрезать кусты — с ланча до трёх — подметать веранды — с трёх до пяти — менять воду в букетах — с пяти до семи — отскрести кирпичи камина.

Каждая минута моей жизни была предопределена.

И я устал от этого.

Как будто я — ещё одно задание в плане Господа.

Итальянский Ренессанс вписан карандашом справа от средневековья.

Всему своё время.

Каждому делу — заданию — причуде — дальше — дальше — дальше.

Экклезиаст, глава три, стих с какого-то по какой-то[†].

[†] Экклезиаст, 3:1–3:8

Век информации запланирован сразу после промышленной революции — потом постсовременная эпоха — потом четыре Всадника Апокалипсиса.

Голод — галочка — Чума — галочка — Война — галочка — Смерть — галочка.

А между большими делами — землетрясения и цунами.

Бог отвёл мне эпизодическую роль.

Потом, через тридцать лет или через год, в Господнем плане мне конец.

Через дверь ванной полиция спрашивает меня — я её ударил? — психолога? — я украл её папки с историями дел и её ДСС? — все её бумаги пропали.

Она пила, хочу я сказать им.

Она принимала психотропные препараты.

Она смешивала хлорку с нашатырём в тесных непроветриваемых помещениях.

Не знаю, как она проводила свободное время, но она говорила про свидания с разными парнями.

И *вчера* у неё эти бумаги *были*.

Последнее, что я сказал ей, — нельзя очистить кирпич без песка — но она была уверена, что соляная кислота справится, один из её парней ей это сказал.

Когда я влез через подвальное окно этим утром, она была мертва — на полу — с парами хлора и соляной кислотой на половине кирпичной стены — и было так же грязно как всегда — только теперь ещё и она.

Между её чёрными шортами и маленькими белыми носками и красными брезентовыми туфлями, мышцы её икр были гладкими и белыми — и всё, что у неё было красным, стало синим — губы — ногти — веки.

Правда в том, что я не убивал своего психолога, но я рад, что *кто-то* убил.

Она была моей единственной связью с последними десятью годами.

Она была последним, что связывает меня с прошлым.

Правда в том, что ты можешь осиротеть снова и снова и снова.

Правда в том, что так и будет.

Секрет в том, что с каждым разом всё менее больно, пока, наконец, не чувствуешь ничего.

Поверьте мне на слово.

Когда она лежала мёртвая — после десяти лет задушевных бесед каждую неделю — моей первой мыслью было: это тоже придётся убирать.

Полиция спрашивает через дверь ванной, почему я смешал земляничное дайкири перед тем, как позвонил им?

Потому что клубника у нас закончилась.

Потому что разве они не понимают, что это не важно?

Время не имело значения.

Это ценный опыт практической работы.

Думайте о своей жизни как о глупой шутке.

Как называется психолог, которая ненавидит свою работу и теряет всех пациентов?

Труп.

Как называется полицейский, укладывающий её в резиновый мешок?

Труп.

Как называются телекамеры, установленные в саду перед домом?

Труп.

Не важно. Шутки про нас всех заканчиваются одинаково.

Агент остаётся на первой линии с предложением целого нового мира.

Человек, на которого я работаю, кричит по громкой связи, что он на деловом ланче в каком-то ресторане, и звонит по мобильнику из туалета, потому что не знает как есть сердцевинки из пальмового салата.

Как будто это важно.

Эй, кричу я ему, я тоже.

Я имею в виду, прячусь в туалете.

Эта страшная чёрная радость, когда единственный человек, кто знает все твои секреты, наконец мёртв — твои родители — твой врач — твой терапевт — твой психолог.

Солнце снаружи окна ванной пытается показать, что мы все глупы.

Всё что нужно — это оглянуться вокруг.

В церковном округе учат ничего не хотеть — сохранять мягкое выражение лица — опускать глаза — говорить тихо и просто.

И смотрите, как хорошо сработала их философия.

Они мертвы, а я жив.

Психолог мертва.

Все мертвы.

Я не знаю.

Здесь в ванной со мной бритвенные лезвия — здесь йод, который можно выпить — здесь снотворное, которого можно наглотаться.

Есть выбор. Жить или умереть.

Каждый вдох — это выбор.

Каждая минута — это выбор.

Быть или не быть.

Каждый раз, когда ты не бросаешься с лестницы, это выбор.

Каждый раз, когда ты не разбиваешься вместе с машиной, ты решаешь жить.

Если я дам агенту сделать меня знаменитым, это ничего не изменит.

Как называется Правоверный с собственным ток-шоу?

Труп.

Как называется Правоверный, разъезжающий в лимузине и едящий бифштекс?

Труп.

Куда не кинь, а терять мне нечего.

Если верить моему плану, я должен сжигать цинк в камине, чтобы прочистить дымоход от сажи.

За окном ванной солнце наблюдает за полицейскими с психологом в полиэтиленовом мешке, пристёгнутой к носилкам, которые они везут к скорой с выключенными мигалками.

Когда я нашёл её, я довольно долго стоял над ней — и пил свой земляничный дайкири — и просто смотрел на неё — синюю — лицом вниз.

Не нужно быть Изобилией Холлис, чтобы этого ожидать.

Её чёрные волосы выглядывали из-под красной банданы на голове — слюна капала из угла её мёртвого рта на кирпичи — кожа на её теле казалась отмершей.

Можно было догадаться, что это произойдёт.

Когда-нибудь это произойдёт с каждым из нас.

Вести себя как обычно больше смысла не было.

Настало время неприятностей.

Так что я приготовил ещё один миксер дайкири и позвонил в полицию и сказал, чтобы они не торопились, никто здесь никуда не собирается.

Потом я позвонил агенту.

Правда в том, что всегда был кто-то, кто говорил мне, что делать — церковь — люди, на которых я работаю — психолог.

И я не могу думать о том, что буду один.

Я не могу справиться с мыслью, что свободен.

Агент говорит, чтобы я держался и дал показания полиции, как только я смогу уйти, он пришлёт машину, лимузин.

Мои чёрно-белые объявления по всему городу всё ещё говорят людям:

«Дай своей жизни ещё один шанс, позвони за помощью» — и мой номер телефона.

Короче, все эти отчаявшиеся люди теперь пусть разбираются сами.

Лимузин отвезёт меня в аэропорт, говорит агент, самолёт доставит меня в Нью-Йорк.

Люди в Нью-Йорке, которых я никогда не видел — которые обо мне ничего не знают — уже пишут мою автобиографию — агент сказал, что первые шесть глав отправит мне по факсу в лимузине, чтобы я запомнил своё детство прежде, чем буду давать интервью.

Я сказал агенту, что и так помню своё детство.

Он сказал, что *эта* версия лучше.

Версия?

«У нас будет версия ещё круче для фильма». Агент спрашивает: «Кем ты хочешь быть?»

Я хочу быть собой.

«Я имею в виду, *кто* будет играть тебя в фильме».

Я прошу его подождать.

Быть знаменитым уже стало меньше свободой и больше графиком решений и заданий за заданиями за заданиями.

Не очень приятно, но привычно.

Потом полиция была под входными дверями — потом они были в кабинете с мёртвой психологом — снимали её фотоаппаратами под разными углами — просили меня убрать выпивку, чтобы они могли задать вопросы про вчерашний вечер.

Потом я запираюсь в ванной и переживаю то, что книги по психологии называют «экзистенциальным кризисом».

Человек, на которого я работаю, звонит из туалета ресторана со своими сердцевинками от пальмового салата — и мой день удался.

Жить или умереть?

Я выхожу из двери ванной мимо полиции и иду прямо к телефону.

Человеку, на которого я работаю, я говорю воспользоваться вилок для салатов — выковырять каждую сердцевинку — зубцами вниз — поднести сердцевинку ко рту и всосать сок — потом положить в нагрудный карман его двубортного пиджака в мелкую полоску от Brooks Brothers.

Он говорит: «Понял».

И в этом доме моя работа закончена.

Одной рукой я держу телефон, а второй показываю полицейским, чтобы добавили больше рома в следующую порцию дайкири.

Агент говорит мне, чтобы я не собирал чемоданы — в Нью-Йорке стилист уже разрабатывает гардероб хлопковых мешковатых религиозных спортивных костюмов, которые они хотят, чтобы я рекламировал.

Чемоданы напоминают мне про отели напоминают мне про люстры напоминают мне про несчастья напоминают мне про Изобилию Холлис.

Она единственное, что осталось — только Изобилия знает что-то обо мне — даже если немного — может быть, она знает моё будущее — но не знает моего прошлого — теперь никто не знает моего прошлого.

Может быть, кроме Адама.

Вдвоём они знают обо мне больше, чем я сам.

Агент говорит, что если верить графику, машина прибудет через пять минут.

Время продолжать жить.

Время выбирать жизнь.

В лимузине должны быть тёмные очки, говорю я.

Я хочу быть инкогнито.

Я хочу кожаные сиденья и тёмные стёкла, говорю я агенту.

Я хочу, чтобы толпы в аэропорту сканировали моё имя — я хочу ещё выпивки — я хочу личного тренера — я хочу сбросить пятнадцать фунтов — я хочу, чтобы у меня волосы были густые — чтобы у меня был нос поменьше — ровные зубы — подбородок с ямочкой — высокие скулы — я хочу маникюр — и я хочу загар.

Я пытаюсь вспомнить *всё*, что Изобилии не нравилось во мне.

29

t w e n t y n i n e

д в а д ц а т ь д е в я т ь

ГДЕ-ТО НАД НЕБРАСКОЙ Я ВСПОМИНАЮ, ЧТО ЗАБЫЛ СВОЮ рыбку.

И она, наверно, хочет есть.

Это часть традиции Правоверных, что даже у трудовых миссионеров есть кто-то — кошка — собака — рыбка — кто-то, о ком он заботится — кто-то, кто ждёт тебя вечером дома — кто-то, чтобы ты не жил совсем один.

Рыбка — это то, что держало меня на одном месте.

Если верить церковной доктрине, вот почему мужчины берут жён и почему женщины рожают детей.

Это что-то, вокруг чего ты строишь жизнь.

Это ненормально, но ты сосредотачиваешь все свои чувства на этой маленькой золотой рыбке — даже после шестисот сорока золотых рыбок — и ты просто *не можешь* дать ей умереть с голоду.

Я говорю стюардессе, мне нужно вернуться, пока она борется со мной, держащим её за локоть.

Самолёт — это всего лишь много рядов людей, сидящих и направляющихся в одну сторону над землёй.

Путешествие в Нью-Йорк во многом похоже на то, как я представлял себе путешествие на Небеса.

Слишком поздно, говорит стюардесса — сэр — рейс без посадок — сэр — может быть, после приземления, говорит она — может быть я позвоню кому-нибудь — сэр.

Но нет никого.

Никто не поймёт.

Ни менеджер дóма, ни полиция.

Стюардесса вырывает локоть, она оглядывается на меня и идёт по проходу.

Все, кому я мог бы позвонить, мертвы.

Так что я звоню единственному человеку, который может помочь — я звоню последнему человеку, с которым хотел бы говорить — и она снимает трубку после первого же гудка.

Оператор спрашивает, оплатит ли она звонок, и где-то на сотни миль позади меня Изабилия говорит «да».

Я говорю, привет, и она говорит, привет.

Не похоже, чтобы она удивилась.

Она спрашивает: «Почему ты не пришёл к склепу Тревора сегодня? У нас должно было быть свидание».

Я забыл, говорю я.

Вся моя жизнь состоит из забывания, это мой самый ценный навык.

Это моя рыбка, говорю я — она умрёт, если её никто не покормит — может быть, это не звучит важным для неё — но эта рыбка для меня целый мир — сейчас рыбка это единственное, о чём я переживаю.

Изабилия должна пойти покормить её.

Или, лучше, забрать к себе домой.

«Хорошо», — говорит она. — «Конечно. Твоя рыбка».

Да, и её нужно кормить каждый день.

Еда, которая ей больше всего нравится, рядом с аквариумом на холодильнике — я даю ей адрес.

Она говорит: «Счастливо стать великим интернациональным духовным лидером».

Мы разговариваем через всё большее расстояние, пока самолёт уносит меня на восток.

Бумага с образцом моей биографии на сидении рядом со мной — и это просто шок.

Я спрашиваю, откуда она знает?

Она говорит: «Я знаю *намного больше*, чем ты думаешь».

Например? Я спрашиваю, что *ещё* она знает?

Изобилия говорит: «А *чего* ты боишься, что я знаю?»

Стюардесса уходит за штору в дверном проёме и говорит: «Он переживает из-за золотой рыбки».

Какие-то женщины за шторой смеются и одна говорит: «Он что, умственно отсталый?»

Как для Изобилии, так и для экипажа я говорю: так случилось, что я единственный уцелевший из всего религиозного культа.

Изобилия говорит: «Повезло тебе».

Я говорю, я никогда больше её не увижу.

«Да, да, да».

Я говорю, люди в Нью-Йорке ждут меня завтра, у них большие планы.

И Изобилия говорит: «Ну конечно».

Я говорю, извини, но мы с ней больше никогда не будем танцевать.

И Изобилия говорит: «Будем».

Если она так много знает, спрашиваю я её, то как зовут мою рыбку?

«Номер шестьсот сорок один».

И — чудо из чудес! — она права.

«Даже не пытайся скрывать от меня что-нибудь», — говорит она. — «Со снами, которые я вижу каждую ночь, меня не легко удивить».

28

t w e n t y e i g h t

д в а д ц а т ь в о с е м ь

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЁТОВ МОЁ дыхание не задерживается внутри меня на столько, чтобы что-то дать.

Мои нóги плывут позади меня.

Моё сердце бьётся о рёбра.

Мой рот и язык опухли и склеились от высохшей слюны.

Я на одном из этих тренажёров со ступеньками, которые установил агент — я поднимаюсь — и поднимаюсь — и поднимаюсь вечно — и никогда не отрываюсь от земли — я в ловушке в номере отеля.

Это домашний — потный — мистический опыт нашего времени — единственный, который я могу уместить в распорядок дня.

Моя лестница в Небо.

К шестидесятому этажу пот пропитывает мою рубашку до коленей — мои лёгкие как нейлоновые колготки со стрелкой — растянутые — распираемые — разрывающиеся — в моих лёгких — разрывы — мои лёгкие как шина, которая вот-вот лопнет — мои уши горят как пыль, сгорающая в электронагревателе или электрофене.

Я делаю это потому, что агент говорит, во мне тридцать фунтов, мешающих сделать меня знаменитым.

Если ваше тело — храм, то ему может потребоваться ремонт.

Если ваше тело — храм, то моё в аварийном состоянии и на реконструкции.

Я должен был это предвидеть.

Как каждое поколение заново изобретает Христа, так агент меняет мою внешность.

Агент говорит, что никто не будет поклоняться тому, у кого лишний вес — в наши дни люди не будут заполнять стадионы, чтобы помолиться вместе с кем-то, кто не прекрасен.

Вот почему я иду в никуда со скоростью семьсот калорий в час.

К восьмидесятому этажу мой мочевой пузырь кажется зажатым между ногами — моё дыхание такое горячее, как когда я открывал пластиковую упаковку чего-то из микроволновки и пар мгновенно обваривал мои пальцы.

Я иду вверх вверх и вверх.

И никуда не прихожу.

Это иллюзия движения.

Иллюзия спасения.

Люди забывают, что путь в никуда тоже начинается с одного шага.

Не то, чтобы дух великого койота входил в меня, но к восьмидесяти пятому этажу в моей голове появляются мысли из космоса — такое чувство, что я чищу что-то и дышу парами нашатыря — я снимаю кожу с цыплёнка из гриля — все глупости мира — кофе без кофеина — пиво без алкоголя — тренажёры-лестницы — всё это разумно — не потому что я умнее, а потому что умная часть моих мозгов ушла в отпуск.

Это такая обманчивая мудрость.

Как предсказание в китайском печеньке.

И я знаю, что через десять минут мозги прочистятся.

И я обо всём забуду.

Мои лёгкие маленькие — как прозрачные пластмассовые пакетики с одноразовыми порциями медовых орешков, что подают в самолёте вместо настоящей еды — а после восьмидесяти пяти этажей воздух такой разрежённый — мои руки двигаются в такт ногам, поднимающимся на новые ступеньки — сейчас мои мысли так глубоки.

Как пузырьки в кастрюле с кипящей водой — эти новые озарения просто появляются.

К девяностому этажу каждая мысль — как Божественное откровение — парадигмы сыплются направо и налево — всё обыденное становится ярчайшей метафорой — истинный смысл всего прямо передо мной.

И это всё так важно.

Это всё так непросто.

Так реально.

Всё, что говорит мне агент, исполнено глубочайшего смысла.

Например, если бы Иисус Христос умер в тюрьме, где его никто не видит, где некому его пытать или оплакивать, были бы мы Спасёны?

Со всем уважением.

Если верить агенту, святым делает освещение средствами массовой информации.

К сотому этажу всё становится ясно — вся Вселенная — и это не голос эндорфинов[†] — чуть выше сотого этажа у меня начинается мистическое озарение.

Это как дерево, которое падает в лесу, где никто его не слышит.

Я понимаю, если бы не было свидетелей агонии Христа —

Были бы мы Спасены?

Ключ к спасению — это сколько внимания я получаю — какой у меня рейтинг — объём моей аудитории — сколько меня показывают — как узнают моё имя — что пишет пресса.

Суета.

К сотому этажу с моих волос льётся пот — скучная механика того, как моё тело работает, слишком ясна — мои лёгкие вытягивают воздух, чтобы насытить кровь — сердце качает кровь к мышцам — мои сухожилия напрягаются, чтобы нога двигалась назад — квадрицепсы сокращаются, чтобы ноги двигались

[†] Эндорфин — «гормон счастья», вырабатываемый гипофизом во время интенсивных позитивных переживаний (в том числе во время оргазма) или под действием наркотических веществ.

вперёд — кровь доставляет воздух и пищу, чтобы они сгорели в мито-как-их-там внутри каждой клетки моих мышц.

Скелет — это просто способ удерживать мою плоть над землёй.

Мой пот — только для того, чтобы меня охлаждать.

Откровения приходят ко мне со всех сторон.

К сто пятому этажу я не могу поверить, что я раб своего тела — этого большого ребёнка — я должен кормить его — и укладывать спать — и водить в туалет — я не могу поверить, что не изобрели чего-то получше — что-нибудь не такое требовательное — не занимающее столько времени.

Я понимаю, что люди принимают наркотики потому, что единственное приключение, оставшееся им, — это прямолинейный законопослушный предсказуемый мир.

Только в наркотиках или смерти мы можем увидеть что-то новое, а смерть уж слишком затягивает.

Я понимаешь, что нет смысла делать что-нибудь, если никто не смотрит.

Я задаю себе вопрос.

Если бы на распятие собралось мало народу, они перенесли бы время?

Я понимаю, что агент был прав — я никогда не видел распятия, где Иисус не был бы почти обнажён — никогда не видел толстого Иисуса — Иисуса с волосами на теле — каждое распятие, которое я видел — Иисус мог бы рекламировать джинсы или мужской одеколон.

Жизнь такая, как говорит агент.

Я понимаю, что, если никто не смотрит, я с таким же успехом мог бы остаться дома, мастурбировать или смотреть телевизор.

К сто десятому этажу я понимаю, что если я не на видеоплёнке — или лучше, в прямом спутниковом эфире — перед всем смотрящим миром — я *не существую*.

Я — дерево, падающее в лесу, которое всем до жопы.

Не важно, делаю ли я что-нибудь.

Если никто не смотрит, моя жизнь — это ноль — пустое место — ничто.

Правда это или нет, но такие истины кружатся во мне.

Ты понимаешь, что это недоверие к будущему делает трудным оставление прошлого — мы не можем отказаться от идеи, кто мы есть — все эти взрослые люди, играющие в археологов на дворовых распродажах, разыскивающие артефакты детства — настольные игры — детские кубики — они напуганы — мусор становится священными реликвиями — плюшевый медвежонок — обруч.

Мы испытываем ностальгию по тому, что выбросили в мусор, из-за того, что боимся развиваться — расти — изменяться — худеть — переделывать себя — адаптироваться.

Вот, что агент говорит мне на тренажёре.

Он кричит мне: «Адаптируйся!»

Всё ускоряется — кроме меня и моего потного тела с пульсирующими кишками и волосами на теле — мои родинки и жёлтые ногти на ногах — я понимаю, что я застрял в этом теле и оно уже разрушается — мой позвоночник кажется раскалённым — мои бессильные мокрые руки свисают с плеч.

Поскольку изменения постоянны.

Я удивляюсь, что люди боятся смерти.

Ведь это единственный способ, чтобы что-то на самом деле закончить.

Агент кричит, что не важно, как я выгляжу.

Я ношу тело только для того, чтобы получить свой «Оскар».

Мои руки только для того, чтобы удержать Нобелевскую премию.

Мои губы только затем, чтобы посылать воздушные поцелуи людям на ток-шоу.

И кроме того, я ещё могу выглядеть красивым.

К сто двадцатому этажу я начинаю смеяться.

Я всё равно потеряю его — своё тело — я уже теряю его — сейчас я готов на всё.

Так что когда агент приносит тебе анаболики и стероиды, ты говоришь — «да».

Ты говоришь «да» сеансам загара.

Электролиз?

Да.

Коронки на зубы?

Да.

Абразивная обработка кожи?

Да.

Химическое отшелушивание?

Если верить агенту, то секрет славы — это *продолжать говорить «да»*.

27

t w e n t y s e v e n
д в а д ц а т ь с е м ь

В МАШИНЕ, ЕДУЩЕЙ ИЗ АЭРОПОРТА АГЕНТ ПОКАЗЫВАЕТ мне лекарство от рака.

Оно называется «ChemoSolv»[†].

Оно должно рассасывать опухоли, говорит он и открывает дипломат, чтобы достать маленькую коричневую бутылочку с тёмными капсулами внутри.

Это до того, как я познакомился с лестницей-тренажёром — моя первая личная встреча с агентом — вечером, когда он подобрал меня в аэропорту в Нью-Йорке — прежде чем он сказал, что я пока слишком жирный, чтобы быть знаменитым — прежде чем продукт был запущен.

Снаружи темно, когда мой самолёт приземляется в Нью-Йорке — ничего особенного — ночь и такая же луна, как дома — и агент просто обычный человек в очках и с пробором, встречающий меня сходящего с самолёта.

Мы пожимаем рúки — подъезжает машина — мы садимся на заднее сиденье — он подтягивает брюки, когда садится, чтобы сохранить складки — он выглядит пошитым на заказ — он выглядит вечным и надёжным — когда я встречаю его, мне стыдно за всё купленное, что нельзя переработать.

«Это другое лекарство от рака, называется “OncoLogic”», — говорит он и протягивает ещё одну коричневую бутылочку мне

[†] Здесь и далее вымышленные торговые марки препаратов образованы сокращением слов, напр.: «ChemoSolv» («Chemical Solving» — «химическое решение»), «OncoLogic» («Oncological Logic» — «логика/решение для рака»), «CerebralSave» («спасение мозга») и т.д.

— сидящему рядом с ним на заднем сиденье хорошей машины — с кожаными мягкими сиденьями — и она движется плавнее, чем самолёт.

Внутри второй бутылочки — ещё тёмные капсулы — и на бутылочке этикетка — как на всех — а агент достаёт следующую бутылочку.

«Это одно из наших лекарств от СПИДа», — говорит он.
— «Самое популярное».

Он достаёт бутылочку за бутылочкой.

«Вот лучшее лекарство от устойчивого к антибиотикам туберкулёза, вот от цирроза печени, от болезни Альцгеймера. Несколько от неврита, несколько от миеломы, несколько от склероза, от риновируса», — говорит он, и трясёт их, так что капсулы внутри тарахтят, и протягивает их мне.

На одной бутылочке написано «ViralSept».

«MaligNon», написано на другой.

«CerebralSave».

«Kohlercaine».

Бессмысленные слова.

Это всё одинаковые коричневые пластиковые бутылочки с белыми крышками с защитой от детей и одинаковыми этикетками.

Агент упакован в среднего размера серый шерстяной костюм — с ним только дипломат — у агента карие глаза за очками — рот — чистые ногти — в нём нет ничего примечательного, кроме того, что он мне говорит.

«Просто назови болезнь», — говорит он, — «и у нас уже готово лекарство от неё».

Он достаёт ещё две пригоршни коричневых бутылочек из дипломата и трясёт их.

«Я принёс это, чтобы объяснить тебе».

Каждую секунду машина, в которой мы с ним, углубляется всё дальше и дальше в темноту Нью-Йорка — за нами следуют другие машины — за нами следует луна.

Я говорю, я удивлён, что все эти болезни всё ещё существуют в мире.

«Просто позор», — говорит агент, — «как медицинские технологии до сих пор плетутся позади маркетинга. Я имею в виду, мы подготовили каналы сбыта годы назад, кофейные чашки в подарок провизорам, жизнерадостные рекламы для журналов, всё готово к запуску, и всё так и тянется. Исследования и разработка отстают на годы. Лабораторные мартышки до сих пордохнут как мухи».

Два ряда его безупречных зубов как будто установлены во рту ювелиром.

Пилюли от СПИДа похожи на пилюли от рака похожи на пилюли от диабета.

Я спрашиваю, так эти вещи на самом деле не изобретены?

«Давай не будем использовать слово “изобретено”», — говорит агент. — «Это только всё запутывает».

Но они не настоящие?

«Конечно они настоящие», — говорит он и забирает бутылочки у меня из рук. — «Они запатентованы. У нас ассортимент почти в пятнадцать тысяч запатентованных названий для продуктов, которые ещё разрабатываются», — говорит он. — «Включая тебя».

Он говорит: «Это моя задача».

Он разрабатывает лекарство от рака?

«Мы организовываем полные концептуальные маркетинговые кампании и пиар», — говорит он. — «Наша работа — создавать концепции. Ты патентуешь лекарство. Ты патентуешь название. Как только кто-то разработает продукт, он приходит к нам, иногда по доброй воле, иногда — нет».

Я спрашиваю его, почему иногда — нет?

«Просто мы патентуем все осмысленные комбинации слов, греческих слов, латинских, английских, каких угодно. У нас есть законные права на любое осмысленное название, которое фармацевтическая компания может использовать для названия

† PR, public relations (англ.) — представление компании или продукта в глазах потребителя.

нового продукта. Только для диабета у нас есть выбор из ста сорока названий», — говорит он. Он вручает мне скреплённые листы бумаги из дипломата на коленях.

«GlucuCure», читаю я.

«InsulinEase».

«PancreAid».

«Hemazine». «Glucodan». «Growdenase».

Я переворачиваю страницу, и бутылочки падают с моих коленей и раскатываются по полу машины, тарахтя пилюлями внутри.

«Если фармацевтическая компания изобретёт лекарство от диабета и захочет использовать любую комбинацию слов, хотя бы отдалённо связанную с этим, им придётся выкупить это право у нас».

Так эти пилюли, говорю я, это просто сахар.

Я открываю одну из бутылочек и вытряхиваю таблетки, тёмно-красные и блестящие, на ладонь — я лижу их — это шоколад в сахарной оболочке — а другие — это желатиновые капсулы с сахарной пудрой внутри.

«Макеты», — говорит он. — «Прототипы».

Он говорит: «Моя задача в том, чтобы каждый фрагмент твоей карьеры был уже подготовлен. Мы ждали твоего появления более пятнадцати лет».

Он говорит: «Я рассказываю это тебе, чтобы ты расслабился».

Но трагедия в церковном округе Правоверных случилась только десять лет назад.

И я кладу пилюлю, оранжевый «Geriamazone», в рот.

«Мы следили за тобой», — говорит он. — «Как только количество уцелевших Правоверных достигло сотни, мы начали раскрутку кампании. Весь обратный отсчёт в газетах в последние шесть месяцев был нашей работой, нужно было немного помочь. Сначала ничего конкретного, гибкая и изменчивая линия, которую можно менять и дополнять, но теперь всё готово. Нам только нужно было живое тело и имя уцелевшего. И тут на сцене появляешься ты».

Из другой бутылочки я вытряхиваю две дюжины таблеток «Inazan» и держу их под языком, пока чёрные сахарные оболочки не растворятся и не растает шоколад.

Агент достаёт ещё листы бумаги и протягивает их мне.

Ford «Merit», читаю я.

Mercury «Rapture».

Dodge «Vignette».

Он говорит: «У нас есть названия машин, которые ещё не спроектированы, программ, которые ещё не написаны, чудесных лекарств от эпидемий, которых ещё не было. Всех продуктов, которые мы можем ожидать».

Мои коренные зубы перемалывают сладкую передозировку синих таблеток «Donnadon».

Агент смотрит на меня, сидящего рядом, и вздыхает.

«Хватит уже лишних калорий», — говорит он. — «Наша первая задача — изменить тебя так, чтобы ты вписывался в кампанию».

Он спрашивает: «Это твой *натуральный* цвет волос?»

Я бросаю миллион миллиграммов[†] «Jodazone» в рот.

«Говоря откровенно», — говорит агент, — «в тебе на тридцать фунтов больше, чем нам нужно».

Я могу понять фальшивые таблетки.

Я только не понимаю, как они планировали кампанию раньше, чем всё произошло — ведь они не могли планировать кампанию *до* Исхода.

Агент снимает и складывает очки — он кладёт их в дипломат — забирает у меня отпечатанные списки будущих чудесных продуктов, лекарств и машин — прячет их в дипломат — отбирает у меня бутылочки лекарств из рук — тихие и пустые.

«Правда в том», — говорит он, — «что не происходит ничего нового».

Он говорит: «Всё это уже было».

Он говорит: «Слушай».

[†] Сохранено в соответствии с оригиналом.

В тыщу шестьсот пятьдесят третьем году, говорит он, русская православная церковь изменила несколько старых ритуалов — только слова — язык — Господи, по-русски.

Какой-то епископ Никон представил изменения, когда западные обычаи стали популярны в российской придворной жизни — и епископ начал отлучать от церкви всех, кто восставал против этих изменений.

Он тянется в темноте к моим ногам и собирает остальные бутылочки с лекарствами.

Если верить агенту, монахи, которые не хотели менять порядок службы, скрылись в отдалённых монастырях, а русские власти преследовали их.

К тыщу шестьсот пятьдесят пятому году маленькие группы монахов начали сжигать себя.

Эти группы совершали самоубийства в северной Европе и Сибири на протяжении семидесятих.

В тыщу шестьсот восемьдесят седьмом две тыщи семьсот монахов захватили монастырь, закрылись в нём и сожгли его.

В тыщу шестьсот восемьдесят восьмом ещё полторы тыщи «староверов» сожгли себя заживо в своём монастыре.

К концу семнадцатого столетия примерно двести тысяч монахов покончили с собой, лишь бы не подчиняться правительству.

Он захлопывает дипломат и наклоняется вперёд.

«Эти русские монахи убивали себя до тыщу восемьсот девяносто седьмого года», — говорит он. — «Ничего не напоминает?»

Самсон в Ветхом Завете, говорит агент — еврейские солдаты, убившие себя в Массаре — «сеппуку» у японцев — «сати» у индийцев — «эндур» у катаров в двенадцатом веке в южной Франции — он загибает пальцы на руке — стоики — эпикурейцы — племена гвианских индейцев, которые убивали себя, чтобы возродиться белыми.

Ближе к здесь и сейчас — массовое самоубийство Храма Людского в тыща девятьсот семьдесят восьмом, девятьсот двенадцать трупов.

Сыны Давида — тыща девятьсот девяносто третий, семьдесят шесть трупов.

Орден Храма Солнца — массовое самоубийство и убийства в тыщу девятьсот девяносто четвёртом, пятьдесят три человека.

Врата Рая в тыщу девятьсот девяносто седьмом — тридцать девять трупов.

«Церковь Правоверных — это всего лишь сбой в культуре», — говорит он. — «Просто ещё одно предсказуемое массовое самоубийство в мире, где отколовшиеся группы держатся только пока их не трогают. Может быть, лидер должен умереть, как было в случае с группой Врат Рая, или их начинает преследовать правительство, как русских монахов или Храм Человеческий, или церковный округ Правоверных».

Он говорит: «На самом деле, это всё ужасно скучно — предсказывать будущее по прошлому. Мы с таким же успехом могли быть страховой компанией, а вместо этого наша задача — сделать культовые самоубийства свежими и захватывающими».

Познакомившись с Изобилией, я думаю — неужели я последний человек на земле, которого можно захватить врасплох.

Изобилия со своими снами о катастрофах — и этот парень, чисто выбритый, со своим кольцом истории — две горошины в одном стручке.

«Реальность означает, что ты живёшь, пока не умрёшь», — говорит агент. — «Правда в том, что никому не нужна реальность».

Агент закрывает глаза и прижимает ладонь ко лбу.

«Правда в том, что в церкви Правоверных не было ничего особенного», — говорит он. — «Она была основана отколовшейся группой миллеритов в тыщу восемьсот шестидесятом, во время Великого пробуждения, во время, когда в одной Калифорнии появилось более пятидесяти утопических общин».

Он открывает глаза и показывает на меня пальцем: «У тебя есть *кто-то*, домашнее животное, птичка или рыбка».

Я спрашиваю, откуда он знает это, про рыбку.

«Это не обязательно правда, но вполне возможно», — говорит он. — «Правоверные даровали своим трудовым миссионерам то, что называлось “привилегия талисмана”, право на домашнее животное, в тыщу девятьсот тридцать девятом. В тот год Правоверная Послушница украла ребёнка из семьи, на ко-

торую работала. Домашнее животное должно было сублимировать потребность в заботе о ком-то».

Послушница украла чьего-то ребёнка.

«В Бирмингеме, штат Алабама», — говорит он. — «Конечно, она убила себя, как только её нашли».

Я спрашиваю, что ещё он знает.

«У тебя проблемы с мастурбацией».

Это просто, говорю я, он прочитал это в моей карточке программы удерживания уцелевших.

«Нет», — говорит он. — «К счастью для нас, все записи о пациентах твоей психолога пропали. Что бы мы ни сказали, не может быть проверено. И — пока я не забыл — мы уменьшили твой возраст на шесть лет. Если кто-нибудь спросит — тебе двадцать семь».

Так откуда он знает о моих, ну, обо мне?

«О твоей мастурбации?»

Моих Онановых грехах.

«Похоже, у всех трудовых миссионеров были проблемы с мастурбацией».

Если бы он только знал — где-то в пропавшей папке записи обо мне — эксгибиционисте — о биполярном синдроме — мизофобии[†] — воровстве — и так далее — где-то в ночь позади нас психолог уносит мои секреты с собой в могилу.

И где-то за полмира от меня — мой брат.

Раз он такой эксперт, я спрашиваю агента, бывали ли убийства людей, которые должны были покончить с собой, но не сделали этого? — в других религиях, был ли кто-нибудь, кто убивал уцелевших?

«У Храма Людского было несколько необъяснённых случаев убийств уцелевших», — говорит он. — «И у Ордена Храма Солнца. Это была проблема канадского правительства с Храмом Солнца, которая послужила основой для программы удерживания уцелевших нашего правительства. В случае с Храмом

[†] Мизофобия — навязчивая боязнь грязи, загрязнения, выражающаяся в навязчивом стремлении к чистоте.

Солнца маленькие группы французских и канадских последователей продолжали убивать себя спустя годы после самой трагедии. Они называли смерти "отправкой"

Он говорит: «Члены Храма Солнца сжигали себя заживо во взрыве бензина или пропана, которые, они думали, отправят их к вечной жизни на звезду Сириус», — и он показывает в ночное небо. — «По сравнению с этим, у Правоверных было всё очень культурно».

Я спрашиваю, не ожидал ли он, что уцелевший член церкви будет охотиться и убивать оставшихся Правоверных?

«Уцелевший член церкви, *кроме* тебя?» — спрашивает агент.

Да.

«Убивает людей, ты говоришь?»

Да.

Смотря из окна на огни Нью-Йорка, проносящиеся мимо, агент говорит: «Убийца-Правоверный? Господи, надеюсь, нет».

Выглядывая на те же огни за тёмным стеклом — выискивая звезду Сириус — смотря сквозь собственное отражение со следами шоколада вокруг рта, я говорю — да, я тоже.

«Вся наша кампания построена на том факте, что ты *последний* уцелевший», — говорит он. — «Если есть ещё один живой Правоверный на свете — ты тратишь моё время, вся кампания коту под хвост. Если ты не единственный живой Правоверный на свете — ты бесполезен для нас».

Он приоткрывает дипломат и достаёт коричневую бутылочку. «Вот», — говорит он, — «прими таблеток "Serenadon". Это лучшее лекарство от беспокойства, когда-нибудь изобретённое».

Они ещё не существуют.

«А ты притворись», — говорит он, — «ради эффекта плацебо[†]».

И вытряхивает две таблетки мне на руку.

[†] Плацебо (в переводе, кажется, с латыни — «пустышка») — безвредное вещество, прописываемое под видом лекарства для успокоения больного и достижения психологического терапевтического эффекта.

26

t w e n t y s i x

д в а д ц а т ь ш е с т ь

ЛЮДИ СКАЖУТ, ЭТО СТЕРОИДЫ СВЕЛИ МЕНЯ С УМА.
«Durateston 250».

Французские пилюли для абортов «Mifepristone».

Швейцарский «Plenastribl».

Португальский «Masterone».

Это настоящие стероиды — не просто запатентованные названия будущих лекарств — это инъекции — таблетки — пластыри.

Люди будут уверены, что это стероиды сделали меня таким — сумасшедшим угонщиком самолётов, летающим вокруг мира до самой смерти.

Как будто люди что-то знают о том, каково быть знаменитой прославленной знаменитостью — духовным лидером — как будто они не ищут опять нового гуру, который придаст смысл их безопасной скучной жизни, пока они смотрят новости по телевизору и судят меня.

Люди ищут руку помощи — поддержку — обещание, что всё будет хорошо — это всё, чего они ждут от меня — потрясённого — отчаянного — прославленного меня — подавленного меня — и никто из этих людей ничего не знает о том, каково быть огромной красивой огромной харизматичной огромной куклой на верёвочках.

Это к сто тридцатому этажу ты начинаешь кричать, вещать и говорить на неизвестных языках[†].

[†] В оригинале — «speaking in tongues», то же, что и «glossolalia». Имеется в виду произнесение непонятных, бессмысленных звуков в состоянии религиозного экстаза.

Никто кроме меня и, может быть, Изобилии, не знает, какие усилия день за днём довели меня до этого.

Представьте, что вся ваша жизнь превратилась в работу, с которой вы *не справляетесь*.

Нет — все думают, что вся жизнь должна быть хотя бы так же приятна как онанизм.

Я хотел бы посмотреть, как эти люди будут жить в номерах отелей, как будут есть низкокалорийную еду, и неуверительно изображать глубокое внутреннее спокойствие и единение с Богом.

Когда ты становишься знаменитым, обед уже не пища — это двадцать унций[†] протеина — десять унций углеводов — это заправка — без соли — без жиров — без сахара — это питание шесть раз в день — через каждые два часа — еда больше не приём пищи — это усвоение протеинов.

Это крем для омоложения клеток.

Мытьё — это очистка кожи.

Дыхание — это вентиляция.

Я первым поздравлю того, кто лучше сможет изображать безупречную красоту и изрекать туманные вдохновляющие фразы: «Успокойтесь. Все, дышите глубже. Жизнь хороша. Будьте праведны и добры. Будьте любовью».

Или что-то такое.

На большинстве выступлений эти глубокие внутренние убеждения и послания поступали от команды писателей ко мне за тридцать секунд до выхода на сцену — вот зачем нужна была молчаливая вступительная молитва — она давала мне время посмотреть на подиум и прочитать свой текст.

Проходит пять минут — десять — четыреста миллиграммов «дека-дюраболина» и тестостерона, который мне вкололи за сценой, всё ещё маленькое круглое вздутие под кожей зада — пятнадцать тысяч заплативших верующих стоят на коленях передо мной со склонёнными головами.

[†] Унция — единица измерения в английской, американской, старорусской системах мер. Здесь: английская унция (масса), равняется 28,350 грамма.

Как завывание сирен на тихой улице — так наркотики расходятся по моей крови.

Я начал носить на сцене эти литургические одежды потому, что при дозе «эквипоza» в крови ты половину времени как деревянный.

Пятнадцать минут проходит — все эти люди на коленях — и когда ты готов — ты просто говоришь волшебное слово.

Аминь.

И начинается шоу.

Дети мира во Вселенной вечной жизни и бесконечного изобилия любви и благодати, и так далее, идите с миром.

Где команда писателей это выкопала, я не знаю.

Только давайте не будем об этих чудесах, которые я свершал на национальном телевидении — моё маленькое чудо во время Суперкубка — все эти катастрофы, что я предрёк — жизни, которые я спас.

Это не моя заслуга, это всё связи.

Люди думают, что так просто быть мной — стоять перед людьми на стадионах — вести их в молитве — потом пристегнуться в реактивном самолёте — на следующий стадион через час — и всё время — трепетный — здоровый — вид.

Нет — эти люди назовут тебя сумасшедшим угонщиком самолётов — но они не знают ничего о трепетной динамичной здоровой трепетности.

Пусть попробуют найти от меня достаточно для вскрытия — кому какое дело, что у меня почти отказала печень — селезёнка и желчный пузырь увеличены из-за человеческого гормона роста — как будто они сами не вкололи бы всё что угодно, высосанное из гипофиза мертвецов, если бы знали, что могут выглядеть как я в телевизоре.

Если ты известен — ты должен принимать эль-тироксин натрия[†], чтобы не толстеть — у тебя бессонница — обмен веществ зашкаливает — сердце стучит — ты потеешь — ты всё время на нервах — но ты выглядишь потрясно.

[†] L-тироксин — гормон, подавляющий функции щитовидной железы, снижающий выработку тирокина (см. дальше)

Просто помни — твоё сердце бьётся только затем, чтобы ты был частым гостем за обедом в Белом Доме.

Твоя центральная нервная система — только затем, чтобы ты обращался к Генеральной ассамблее ООН.

Амфетамин[†] — самый американский наркотик.

Ты столько можешь сделать.

Ты выглядишь потрясно, и твоё второе имя — Сверхчеловек.

«Всё твоё тело», — кричит агент, — «для того, чтобы ты его создавал как дизайнер — линию спортивной одежды».

Твоя щитовидная железа прекращает вырабатывать тироксин.

Но всё ещё ты выглядишь потрясно — ты сама Американская мечта — ты неуклонно укрепляющаяся экономика.

Если верить агенту, люди ищут лидера — им нужен трепет — им нужна масса — им нужна динамика — никому не нужен маленький хилый бог — им нужна разница в тридцать дюймов между объёмами груди и талии — большая грудь — длинные ноги — подбородок с ямочкой — большие икры.

Им нужен больше чем человек.

Им нужно больше, больше.

Никому не нужна анатомическая правильность.

Людам нужно анатомическое совершенство — хирургическое вмешательство — новое и усовершенствованное — силиконо-имплантированное — коллагено-инъектированное.

Для записи: после первого трёхмесячного курса «дека-дюраболина» я не могу нагнуться чтобы завязать себе шнурки, такими огромными стали мои руки.

Агент говорит — не проблема.

И нанимает кого-то, кто будет завязывать мне шнурки.

[†] Наркотик из группы синтетических стимуляторов, классическими эффектами которого считаются повышенная работоспособность, стимуляция нервной деятельности, бессонница или сокращение времени на сон.

«Ты должен идти на компромиссы», — говорит агент. — «Никто не захочет поклоняться богу, который сам завязывает себе шнуры».

Никто не будет тебе поклоняться, если у тебя те же проблемы — тот же запах изо рта — спутанные волосы — заусенцы — как у обычного человека.

Ты должен быть всем, чем обычные люди никогда не будут — там, где они падают, ты должен идти дальше — быть тем, кем боятся быть люди — тем, кем они восхищаются.

Люди покупающие Мессию хотят качества — никто не пойдёт за неудачником — когда доходит до выбора Спасителя, они не согласятся на обычного человека.

После семнадцати недель курса какого-то русского «метахипостехозича»[†] все мои волосы выпали и агент купил мне парик.

«Для тебя парик лучше», — сказал агент. — «Мы можем положиться на то, что он будет в порядке всё время. При выходе из вертолётa, под пропеллером, каждую минуту на людях, ты не можешь контролировать, как выглядят твои настоящие волосы».

Агент объяснил мне свой план: мы не нацелены на умных людей, только на большинство.

Он сказал: «Думай теперь о себе как о диетической коле».

Он сказал: «Думай о молодых людях во всём мире, борющихся с устаревшими религиями или совсем без религий. Думай об этих людях как о своём целевом рынке».

Люди ищут, как всё свести вместе — им нужна общая теория поля — и чтоб сочетала красоту и святость — моду и духовность — людям нужно верить в то, что добро хорошо выглядит.

День за днём без нормальной еды — нехватка сна — восхождения на тысячи ступенек — и агент выкрикивает мне свои идеи снова и снова — и всё это вполне разумно.

Команда музыкантов писала гимны раньше, чем со мной вышли на связь — писатели ложились спать с моей биографией под подушкой — медиа-команда составляла пресс-релизы — соглашения о лицензировании продуктов — цирковое шоу

[†] Гадаете, что это? Это «Метандростенолон», написанный по-русски и кое-как прочитанный *по-английски*. (:

«Трагедия Правовой смерти на льду» — спутниковые мосты — сеансы загара — команда имиджмейкеров определяет мою внешность — команда писателей контролирует каждое слово из моего рта.

Чтобы спрятать прыщи после курса «лаураболина» я начал пользоваться косметикой.

Чтобы вылечить прыщи, кто-то из команды обеспечения достал мне рецепт на «Ретин-А»[†].

Из-за потери волос команда обеспечения втирает мне в голову «рогаин»^{††}.

Всё, чем меня исправляют, имеет побочные эффекты, которые нужно исправлять, и эти исправления тоже имеют побочные эффекты, которые нужно исправлять, и снова и снова.

Представьте историю Золушки, которая смотрит в зеркало — а оттуда глядит незнакомка — и каждое её слово написано профессионалами — а её одежда подобрана или создана командой дизайнеров.

Каждая минута каждого дня распланирована агентом по рекламе.

Может быть, теперь вы начинаете представлять.

И ваш герой вкалывает наркотики, которые можно купить только в Швеции или Мексике — так что не может посмотреть вниз из-за выступающих грудных мышц — он загорел — и выбрит — и в парике — и в графике — потому что люди в Таксоне — люди в Сиэтле — в Чикаго — в Батон-Руж — им не нужно воплощение божества с волосатой спиной.

Это к двухсотому этажу ты достигаешь высшей точки.

Ты обходишься без воздуха, ты сжигаешь мышцы вместо жира, но твой мозг кристально чист.

Правда в том, что всё это только часть самоубийства, и загар и стероиды — это проблема только если хочешь жить долго.

Вся разница между самоубийством и мученичеством — это освещение прессой.

[†] «Retin-A» — всего лишь витамин А в креме.

^{††} «Rogaine», также «ReGain» — торговые марки средств от облысения на основе миноксидила. Кстати, многим реально помогает.

Если в лесу падает дерево, и никто не слышит его, разве оно не лежит и не гниёт там?

И если бы Христос умер от передозировки барбитуратов один на полу ванной, был бы он на Небесах?

Это *не было* вопросом — собираюсь я убить себя или нет.

Всё это — эти усилия — эти деньги и время — команда писателей — наркотики — диета — агент — лестничные пролёты в никуда — всё это для того, чтобы я мог покончить с собой при всеобщем внимании.

25

t w e n t y f i v e

д в а д ц а т ь п я т ь

НА ЭТОТ РАЗ АГЕНТ СПРОСИЛ, КАК Я ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЯ через пять лет.

Мёртвым, говорю я ему.

Я представляю себя мёртвым и гниющим.

Или пепел — я могу представить себя сожжённым в пепел.

Я помню — у меня в кармане заряженный пистолет — только двое нас стоят позади переполненного тёмного зала — я помню — это был вечер моего первого выхода к большой публике.

Я представляю себя мёртвым и в Аду, говорю я.

Я помню — я планировал убить себя той ночью.

Я сказал агенту, что проведу первую тысячу лет в Аду на низкой должности, но потом хочу заняться менеджментом, быть настоящим командным игроком.

Ад должен пережить бурный рост на рынке в следующем тысячелетии, и я хочу быть на волне.

Агент сказал, что это звучит довольно разумно.

Мы курили сигареты — я помню — внизу на сцене какой-то местный проповедник открывал шоу.

Часть такого разогрева состоит в том, чтобы публика достигла гипервентиляции — громкое пение подойдёт — или монотонное.

Если верить агенту, когда люди так кричат или поют «Amazing Grace» изо всех сил, они слишком часто дышат. Человеческая кровь должна быть кислотной, а когда происходит гипер-

вентиляция, уровень двуокиси углерода снижается и кровь становится щелочной.

«Респираторный алкалоз», — сказал он.

У людей становятся легко на душе — люди падают на землю со звоном в ушах — их пальцы немеют — у них болит в груди — они потеют — это должно означать экстаз — люди валяются на пол со скрюченными руками.

Это сходит за экстаз.

«В религиозном бизнесе это называется — “корчиться”», — говорит агент. — «Это называется — “бредить”».

Повторяющиеся движения усиливают эффект — открывающая часть на сцене идёт своим чередом — люди хлопают в такт — длинные ряды людей — держатся за руки — раскачиваются в бреду — повсюду колышущиеся руки.

Кто бы ни придумал всё это, говорит мне агент, он управляет делами в Аду.

Я помню, что нашим спонсором был «Летний старомодный растворимый лимонад».

Когда открывающая часть позовёт меня на сцену, моей работой будет очаровать их всех.

«Натуральное состояние транса», — говорит агент.

Агент достаёт коричневую бутылочку из кармана спортивной куртки, и говорит: «Прими пару таблеток эндорфинола, если чувствуешь что-нибудь».

Я говорю ему насыпать мне горсть.

Чтобы подготовиться к сегодняшнему вечеру, помощники ходили по местным жителям и раздавали им бесплатные билеты на шоу — агент мне рассказывает это уже в сотый раз — помощники просили разрешения сходить в туалет во время посещения и записывали всё, что находили в аптечке.

Если верить агенту, Преподобный Джим Джонс делал так, и так творил чудеса для своего Храма Людского.

Нет, наверное, «чудеса» — это не то слово.

На кафедре список людей, которых я никогда не видел и их опасные заболевания.

Миссис Стивен Брэндон, должен был выкрикнуть я, приидите и дайте Господу коснуться ваших больных почек.

Мистер Уильям Докси, приидите и вручите своё больное сердце в рўки Господа.

Часть моего обучения это как коснуться чьих-то глаз жёстко и быстро, чтобы давление было воспринято нервами как вспышка белого света.

«Божественный свет», — говорит агент.

Часть моего обучения это как прижать ладони к чьим-то ушам так сильно, чтобы они услышали шум, и я скажу, что это вечный Ом.

«Вперёд», — говорит агент.

Я пропустил свой выход.

На сцене проповедник выкрикивает в микрофон: «Труженик Брэнсон! Единственный и неповторимый, последний уцелевший, великий Труженик Брэнсон!»

Агент говорит мне: «Стой».

Он вынимает сигарету из моего рта и подталкивает меня по проходу.

«Теперь иди», — говорит он.

Рўки тянутся в проход, чтобы коснуться меня — яркий свет прожекторов на сцене передо мной — темнота вокруг меня — улыбки тысяч безумных людей, которые думают, что любят меня — всё, что мне нужно, это выйти на свет прожекторов.

Это как смерть, которая не затягивает.

Пистолет в кармане штанов тяжёлый и бьёт по бедру.

Это как иметь семью, не будучи знакомыми — быть родственниками без родства.

На сцене жарко от прожекторов.

Это как быть любимым без риска влюбиться в ответ.

Я помню, это был прекрасный миг, чтобы умереть.

Это не было Небесами, но ближе к ним, чем я когда-нибудь буду.

Я поднимаю рѹки и люди кричат — я опускаю рѹки и они замолкают — сценарий передо мной на кафедре — я читаю его — он скажет мне, кто в темноте от чего страдает.

В крови у всех щёлочь — все готовы отдать свои сердца в чьи-то рѹки — это как воровать в магазинах — это как слушать исповеди по моей линии поддержки — это как я представляю себе секс.

Думая о Изобилии, я начинаю читать сценарий:

Все мы — творения Божьи.

Мы — частицы, что вместе есть прекрасным целым.

Каждый раз, когда я замолкаю, люди задерживают дыхание.

Дорог дар жизни, читаю я сценарий.

Я кладу руку на заряженный пистолет в кармане.

Бесценный дар жизни должен быть храним, как бы больно и тяжело не было.

Покой, говорю я им, это дар столь ценный, что лишь Господь может дать его.

Я говорю людям, только себялюбивые дети Господа посягнут на величайший дар Божий, его единственный дар ценнее жизни, дар смерти.

Это урок убийцам, говорю я, и это урок самоубийцам, и тем, кто делает аборты, это урок страждущим и немощным.

Лишь Господь может одарить детей Своих смертью.

Я не понимал, что говорю, пока не было поздно — это может быть случайностью — или агент мог знать, что у меня на уме, когда я попросил его достать мне патроны и пистолет — но сценарий испортил весь мой план.

Я не мог прочесть это и потом убить себя.

Это бы выглядело совсем глупо.

Так что я так и не убил себя.

Остаток вечера прошёл как планировалось. Люди уходили домой, чувствуя себя спасёнными. И я сказал себе, что убью себя как-нибудь потом.

Момент был упущен, я промедлил, и нужно было двигаться дальше.

Кроме того.

Вечность должна длиться бесконечно.

С толпами улыбающихся людей, смотрящих на меня из темноты, я, прошедший всю жизнь моя ванны и подстригая газоны, я сказал себе, зачем торопиться?

Отступил раз, отступил другой.

Повторение — мать учения.

Если это *так* называется.

Я подумал, ещё несколько грехов дополнят моё резюме.

Есть и хорошее в том, что ты уже навечно проклят.

Я подумал — Ад может подождать.

24

t w e n t y f o u r

д в а д ц а т ь ч е т ы р е

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ САМОЛЁТ РАЗОБЬЁТСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ закончится плёнка, одна из вещей, за которые я хочу извиниться — это «Книга совсем обычных молитв».

Люди должны знать, что «Книгу совсем обычных молитв» придумал *не я*.

Да, она продалась тиражом двести миллионов по всему миру.

Да, я разрешил поставить на ней своё имя

Но книгу придумал *агент* — а до него её придумал кто-то никто в команде писателей — кто-то пытающийся пробиться в люди — я не помню.

Важно то, что книгу придумал *не я*.

Просто однажды агент пришёл ко мне с огоньками в глазах, которые означают, что он заключил сделку.

Если верить моему издателю, я иду на расхват — это после того как мы издали серию Библий, которые я подписывал в книжных магазинах — у нас было гарантированных миллион с лишним футов книжных полок в магазинах — я был в турне.

«Не думай, что турне в поддержку книг будет развлечением», — сказал мне агент.

Подписывать книги, говорит агент, это то же самое, как в последний день в школе, когда каждый хочет, чтобы ты написал что-нибудь в его альбом — только тур в поддержку книг может длиться до конца твоей жизни.

Если верить моему графику, я в денверском магазине, подписываю книги, когда агент рассказывает мне про идею о маленькой книге медитаций, которые люди могут использовать в повседневной жизни.

Пятьдесят страниц — только самое главное — маленькие посвящения природе — детям — всему безопасному — матерям — пандам — таким темам, которые никого не расстроят — общим проблемам — мы поставим моё имя на обложке — скажем, что я написал её — и всё само получится.

Что ещё нужно знать людям, так это что я *не видел* книги, пока не вышло второе издание — когда она продалась тиражом в пятьдесят тысяч — и люди уже приходили в ярость, но этот шум только поднимал продажи.

Что случилось, так это я однажды сидел в зелёной комнате, ожидая, чтобы вести какой-то дневной телепроект вторым ведущим.

Это потом, после тура с подписанными Библиями — идея в том, что я помогаю вести шоу — и если достаточно людей посмотрят его, я уеду отсюда на собственной машине.

Так что я в зелёной комнате обмениваюсь секретами ухода за ногтями с кем-то — с актрисой Уэнди Дэниелс — или с кем-то ещё — и она просит меня подписать её экземпляр книги — «Книги совсем обычных молитв».

Это первый раз, когда я её увидел — я *клянусь* — клянусь на стопке подписанных мною Библий.

Если верить Уэнди Дэниелс, я могу разглядеть мешки под глазами, втирая немного крема от геморроя.

Потом она протягивает мне её — «Книгу совсем обычных молитв» — и моё имя — прямо на обложке — я — я — я — вот он я.

Внутри — молитвы, которые, люди думают, я написал:

«Молитва, чтобы отсрочить оргазм».

«Молитва, чтобы сбросить вес».

Такое чувство, как у лабораторных подопытных животных, когда их перемалывают чтобы сделать хот-доги — вот как мне было больно.

«Молитва, чтобы бросить курить».

Пресвятой наш Отец,
Лиши меня выбора, который Ты дал мне,
В руки Твои предаю свою волю и привычки,
Возьми мою власть над деяниями моими.
Да пребудут поступки мои волей Твоей,
Да пребудут ошибки мои во власти Твоей.
А если я буду и дальше курить,
Я буду знать, что таково веление Твое.
Аминь.

«Молитва, чтобы удалить пятна плесени».

«Молитва, чтобы не выпадали волосы».

Бог абсолютной власти,
Пастырь овец Своих,
Кто помогает наименьшим из детей Своих,
Кто спасает заблудших овец Своих,
Верни мне блеск красоты моей,
И сохрани во мне юность мою.
Всё дать во власти Твоей,
И во всём отказать во власти Твоей.
Бог безграничной щедрости,
Снизойди к моим страданиям.
Аминь.

«Молитва, чтобы случилась эрекция».

«Молитва, чтобы не пропала эрекция».

«Молитва, чтобы умолкли лающие собаки».

«Молитва, чтобы затихли автосигнализации».

Так, как я себя чувствовал — я ужасно выглядел по телевизору — моё телешоу — ну, я мог с ним попрощаться — через минуту после эфира я связался по междугороду со своим агентом в Нью-Йорке, и на моём конце линии кипела ярость.

Его заботили только деньги.

«Что такое молитва?» — спросил он. «Это заклинание», — ответил он, и начал тоже кричать на меня по телефону. «Это способ для людей сфокусировать их энергию на конкретной потребности. Людям нужно определить простую цель и выполнить её».

«Молитва, чтобы не оштрафовали за неправильную парковку».

«Молитва, чтобы трубы перестали течь».

«Люди молятся, чтобы решить проблемы, а это, видит Бог, проблемы, о которых люди беспокоятся» — всё ещё кричит на меня агент.

«Молитва, чтобы повысить чувствительность влагалища».

«Молитва — это как смазка для скрипящего колеса», — говорит он, вместо сердца кусок сыра. — «Ты молишься, чтобы о твоих проблемах узнали».

«Молитва, чтобы не шумели поезда».

«Молитва, чтобы нашлось место для парковки».

О святой всепрощающий Боже,
История не знает благодарности, равной моей,
Когда Ты дашь мне сегодня место для парковки.
Ибо Ты есть источник, и Ты есть начало,
По Твоей воле мы обретаем,
И в Тебе мы находим.
По Твоей воле обрету я приют,
И Твоей заботой обрету я мир.
Остановку, отдых, передышку, парковку
В воле Твоей даровать мне,
Вот, чего я прошу.
Аминь.

Перед тем, как я тут умру, люди должны знать, что моей целью было послужить славе Божьей — в основном.

Не то, чтобы это было у нас в графике, но это *моя* цель — мне хотелось, по крайней мере, *попытаться* — а эта новая книга выглядела *совсем* не набожной — ну ни капельки.

«Молитва, чтобы не потели подмышки».

«Молитва для второго собеседования».

«Молитва, чтобы найти потерянные контактные линзы».

Но даже Изобилия говорит, что я угадал с этой книгой.

Изобилия требует второй том.

Изобилия говорит, на некоторых стадионах, где я стоя молюсь Богу, я похож на людей с Микки Маусом или «Кока-колой»

на одежде — в смысле, так же легко и просто — это даже не выбор — ты не можешь ошибиться — Изабилия говорит, что молиться Богу это вполне безопасно — даже думать не нужно.

«Плодись и размножайся», — говорит мне Изабилия. — «Славь Господа. Нет никакого риска. Это настройка по умолчанию».

Что спасло «Книгу совсем обычных молитв» — так это то, что люди *использовали* каждую молитву.

Некоторые люди злились — в основном, религиозные люди, которые проигрывали соревнование — но к этому моменту поток денег начал иссякать — наши прибыли уменьшились — это называется «насыщение рынка».

Люди запомнили молитвы — они застревали в пробках и читали «Молитву, чтобы машины разъехались» — мужчины твердили «Молитву, чтобы отсрочить оргазм», и это работало не хуже таблицы умножения — так что мне лучше всего было молчать и улыбаться.

Кроме того, количество людей на моих персональных выступлениях снизилось — это было начало конца — и обложка журнала «People» с моей фотографией была три месяца назад.

А такой вещи как трудоустройство знаменитостей — нет.

Бывшие кинозвезды или кто там ещё не возвращаются в колледж для переподготовки.

Мне осталось только открывать своё игровое шоу, а для этого я слишком глупый.

Я достиг вершины, и теперь понимаю, что это было ещё одним хорошим моментом для самоубийства.

Я почти сделал это, таблетки были у меня в руке.

Вот как близко я был — я собирался принять сверхдозу метатестостерона — и тут агент звонит по телефону — громко — очень громко — громко как миллион христиан выкрикивающих твоё имя в Канзас-Сити — такое возбуждение у него в голосе.

По телефону в моём номере отеля агент рассказывает мне про лучшую сделку в моей карьере.

На следующей неделе, тридцатисекундный ролик между рекламой теннисных туфель и передачей про национальный ресторан тако.

Прайм-тайм[†] на протяжении недели.

Странно думать, что те пилюли были у меня практически во рту. Теперь ужé совсем не скучно.

Кабельное телевидение — миллионы зрителей — это будет тот самый момент — мой последний шанс достать пистолет и застрелиться на глазах у такой аудитории.

Это будет самое настоящее мученичество.

«Только одно “но”», — говорит мне агент по телефону. Он кричит: «Я сказал им, что ты сотворишь чудо».

Чудо.

«Небольшое. Не нужно разделять воды Красного моря, ничего такого», — говорит он. — «Хватит и превращения воды в вино. Только помни: не будет чуда, не будет и ролика».

[†] Prime time (англ.) — время, когда максимальный процент аудитории находится у экранов телевизоров; соответственно, наилучшее и самое дорогое время для рекламы.

23

t w e n t y t h r e e
д в а д ц а т ь т р и

ИЗОБИЛИЯ ХОЛЛИС СНОВА ВХОДИТ В МОЮ ЖИЗНЬ
в Спокейне, штат Вашингтон.

Я ем пирог и пью кофе — инкогнито в «Ресторане Шэна» — она заходит в двери и направляется прямо к моему столику.

Нельзя сказать, что Изабилия Холлис похожа на фею-крёстную, но, бывает, она удивляет тебя и появляется.

Но не часто.

Изабилия — с её серыми глазами, усталыми как воды океана.

Изабилия, чей каждый вздох — как последний.

Она — сияющее око бури, вокруг которого кружится весь мир.

Изабилия — с её безвольно повисшими руками и лицом как у измученного уцелевшего — какого-то бессмертного — египетского вампира после миллиона лет телевизионных повторов, что мы называем историей — она падает на стул напротив меня — радующегося, потому что мне по-любому нужно чудо.

Это раньше — когда я мог позволить себе ускользнуть от окружения — я ещё не был никем — я был на грани этого благодаря спаду интереса газет и телевидения и затуханию рекламной кампании.

Изабилия ставит локти на стол и облакачивает подбородок на руки — её крашенные в рыжий волосы свисают на лицо — она как будто только прилетела с какой-то планеты, где гравитация меньше, чем на земле, и теперь она весит восемьсот фунтов.

Она одета беспорядочно — джинсы и футболка — туфли — она тащит за собой большую сумку — работает кондиционер и можно почувствовать искусственно-сладкий запах смягчителя ткани.

Она выглядит — размытой.

Она выглядит — исчезающей.

Она выглядит — стёртой.

«Не дёргайся», — говорит она. — «Это я просто без косметики. Я здесь на задании».

Её работа.

«Правильно», — говорит она. — «Моя ужасная работа».

Я спрашиваю, как моя рыбка?

Она говорит: «Нормально».

Мы не можем встретиться здесь случайно, ни в коем случае, она, наверное, следила за мной.

«Ты забыл, что я знаю *всё*», — говорит Изобилия.

Она спрашивает: «Сколько времени?»

Я говорю ей, час пятьдесят три.

«Через одиннадцать минут официантка принесёт тебе ещё один кусок пирога, с лимонными меренгами на этот раз. Позже — только шестьдесят человек посмотрят тебя вечером. Завтра утром что-то под названием “мост через реку Уокер” обрушится в Шревепорте, где бы это ни было».

Я говорю, что у неё получается.

«И», — говорит она и ухмыляется, — «тебе нужно чудо. Тебе очень нужно чудо».

Может быть, говорю я, в наше время кому не нужно чудо?

Откуда она столько знает?

«Оттуда же», — говорит она и наклоняется через стол, — «откуда знаю, что у той официантки рак. Я знаю, что от пирога, который ты ешь, у тебя заболит живот. Какой-то кинотеатр в Китае сгорит через несколько минут, какое там сейчас время в Азии. Прямо сейчас в Финляндии лыжник вызывает лавину, которая похоронит с дюжину людей».

Изобилия машет и официантка с раком подходит к нам.

Изобилия наклоняется через стол и говорит: «Я знаю это потому, что знаю *всё*».

Официантка молодая — с красивыми волосами и зубами и всем таким — ничто в ней не говорит о болезни — и Изобилия заказывает жареного цыплёнка с овощами и кунжутными семечками — она спрашивает, с рисом ли он.

Спокейн за окнами — домá — река Спокейн — солнце, под которым мы все живём — парковка — сигаретные окурки.

Я спрашиваю, почему ты не предупредишь официантку?

«А как бы ты себя вёл, если бы незнакомый человек тебе такое сказал? Это испортит ей весь день», — говорит Изобилия. — «И её переживания только задержат мой заказ».

Вишнёвый пирог, который я ем, — у меня от него заболит живот.

Сила самовнушения.

«Всё что нужно — это уделять внимание закономерностям», — говорит Изобилия. — «Когда ты видишь закономерности, ты можешь предсказать будущее».

Если верить Изобилии Холлис, хаоса нет.

Есть только закономерности — закономерности закономерностей — закономерности, которые влияют на другие закономерности — закономерности, скрытые другими закономерностями — закономерности — внутри — закономерностей.

Если посмотреть внимательно, история просто повторяет саму себя.

То, что мы называем хаосом — это просто закономерности, которые мы не понимаем — то, что мы называем случайностью — это просто закономерности, которые мы не расшифровали — то, что мы не понимаем — мы называем бессмыслицей — то, что мы не можем прочесть — мы называем абракадаброй.

Свободы воли нет.

Переменных нет.

«Есть только неминуемое», — говорит Изобилия. — «Есть только *одно* будущее. У тебя *нет* выбора».

Плохие новости в том, что у тебя *нет* контроля.

Хорошие новости в том, что ты *не можешь* ошибиться.

Официантка на другой стороне зала — молодая — красивая — обречённая.

«Я уделяю внимание закономерностям», — говорит Изабия.

Она говорит, что *не может* не уделять.

«С каждой ночью их всё больше в моих снах», — говорит она. — «Всё. Это как читать книгу по истории, только про будущее — каждую ночь».

Так что она знает *всё*.

«Тебе нужно чудо, чтобы выступить по телевидению».

Мне нужно хорошее предсказание.

«Вот, зачем я здесь», — говорит она и достаёт толстый ежедневник из своей сумки. — «Когда? Назови дату предсказания».

Я говорю, в любое время на неделе после следующей.

«Как насчёт аварии с множеством машин?» — спрашивает она, изучая книгу.

Я спрашиваю, *сколько* машин?

«Шестнадцать машин», — говорит она. — «Десять погибших, восемь госпитализировано».

А что-нибудь позффектней у неё есть?

«Как насчёт пожара в казино в Лас-Вегасе?» — спрашивает она. — «Девочки из шоу с голыми сиськами и в перьях посреди огня, и всё такое».

Погибшие?

«Нет. Небольшие травмы. Много дыма, правда».

Что-нибудь *побольше*.

«Взрыв в салоне для загара».

Что-нибудь *понеобычней*.

«Бешенство в национальном парке».

Скучно.

«Столкновение поездов метро».

Я сейчас засну.

«Активист охраны животных с бомбами в Париже».

Пропустим.

«Нефтяной танкер тонет».

Кому это интересно?

«Выкидыш у кинозвезды».

Замечательно, говорю я. Люди подумают, что я настоящее чудовище, когда это подтвердится.

Изобилия листает страницы ежедневника.

«Сейчас ведь лето», — говорит она. — «Не такой уж выбор катастроф».

Я говорю ей, чтобы ещё искала.

«На следующей неделе гигантская панда Хо-Хо в Национальном зоопарке подцепит венерическое заболевание от другой панды при попытке их размножения».

Я это по телевизору *не скажу*.

«Как насчёт вспышки туберкулёза?»

Зеваю.

«Снайпер на шоссе?»

Зеваю.

«Нападение акул?»

Она что, остатки выбирает?

«Сломанная нога у скаковой лошади?»

«Порезанная картина в Лувре?»

«Грыжа у премьер-министра?»

«Падающий метеорит?»

«Заражённые замороженные индейки?»

«Лесной пожар?»

Нет, говорю я ей.

Слишком грустно.

Слишком утончённо.

Слишком политично.

Слишком театрально.

Слишком грубо.

Не пойдёт.

«Поток лавы?» — спрашивает Изобилия.

Слишком медленно, нет настоящей драмы, в основном повреждения собственности.

Проблема в том, что после фильмов-катастроф от природы ждут слишком многого.

Официантка приносит жареного цыплёнка и мой пирог с лимонными меренгами — наливает нам кофе — улыбается — и уходит умирать дальше.

Изобилия листает страницы книги.

У меня в животе вишнёвый пирог начинает войну — снаружи Спокейн — внутри кондиционеры — ничто не похоже на закономерности.

Изобилия Холлис говорит: «Как насчёт пчёл-убийц?»

Я спрашиваю, где?

«Прилетят в Даллас, штат Техас».

Когда?

«В следующее воскресенье утром, в десять минут девятого».

Сколько? Много? Как много?

«Миллиарды».

Я говорю ей, замечательно.

Изобилия тяжело вздыхает и принимается за своего цыплёнка.

«Блядь», — говорит она. — «Я *знала*, что ты *это* выберешь».

22

t w e n t y t w o

д в а д ц а т ь д в а

КОРОЧЕ, МИЛЛИАРДЫ ПЧЁЛ ПРИЛЕТЕЛИ В ДАЛЛАС, ШТАТ Техас, в десять минут девятого в субботу утром, прямо по графику — и это несмотря на то, что у меня было всего каких-то пятнадцать процентов аудитории.

На следующей неделе канал выделил мне целую минуту, и серьёзные люди — медицинские компании и автомобилестроители, нефтяные и табачные конгломераты — выстроились в очередь как возможные спонсоры, если я сделаю ещё большее чудо.

Страховые компании заинтересовались по совсем другим причинам.

Между сейчас и следующей неделей — я в дороге — выступаю по вечерам по всей Флориде — по маршруту Джексонвилль — Тампа — Орlando — Майами — это крестовый поход Труженика Брэнсона — по ночи на каждый город.

Моя «Минута чудес» — так хотят её назвать мой агент и телеканал — она требует почти ноль усилий — просто кто-то наводит камеру на старательно причёсанного тебя с повязанным галстуком, и ты с серьёзным лицом говоришь в объектив:

Маяк на мысе Ипсвич завтра рухнет.

На следующей неделе ледник Мэннингтон на Аляске обрушится и перевернёт туристический корабль, который подойдёт слишком близко.

А ещё через неделю — мыши, переносящие смертельный вирус, появятся в Чикаго, Такоме и Грин-Бэй.

Это как быть комментатором новостей, только ещё до происшествия.

Я думаю сделать так: я попрошу Изобилию дать мне несколько дюжин предсказаний сразу — я запишу целый сезон «Минут чудес» — и с запасом на год буду свободен чтобы выступать — рекламировать продукты и подписывать книги — может, заняться консультированием — эпизодически появляться в фильмах и на телевидении.

Не спрашивайте меня, потому что я всё равно не помню, почему я всё забывал покончить с собой.

Если бы агент вписал в мой график самоубийство, я был бы мёртв.

Четверг, девятнадцать ноль ноль, выпить жидкость для прочистки труб, нет проблем.

Но с этими пчёлами-убийцами моё время нарасхват — я всё переживаю, что больше не увижу Изобилию — мой эскорт ходит за мной по пятам — команда следует за мной — агент — менеджеры — личный тренер — стоматолог — дерматолог — специалист по диетам.

Пчёлы-убийцы не совершили ничего такого, чего от них ждали, они никого не убили, но на них *обратили внимание*.

Теперь мне нужен был выход на бис.

Рушащийся стадион.

Обвал в шахте.

Поезд, сходящий с рельс.

Я один только когда иду в туалет, и даже тогда я окружён.

Изобилия нигде.

Почти в каждом общественном мужском туалете есть дырка в стене между одной кабинкой и другой — процарапанная сквозь дюйм дерева кем-то — одними ногтями — за дни и месяцы.

Эти дырки процарапаны сквозь мрамор, сквозь сталь — как будто кто-то пытается сбежать из тюрьмы — дырка размером только чтобы посмотреть сквозь неё — поговорить — или просунуть палец — или язык — или член — и выбраться хоть маленькой частью себя.

Люди называю эти отверстия «дырками славы».

Это как найти золотую жилу.

Найти славу.

Я в туалете в аэропорту Майами, и рядом с моим правым локтем дырка в стенке кабинки, а вокруг дырки послания от людей, которые сидели здесь до меня.

«Джон М. был здесь четырнадцатого ноль третьего шестьдесят четвёртого».

«Карл Б. был здесь восьмого янв тыщу девятьсот семьдесят шестого».

Эпитафии.

Что-то из выцарапанного свежее, что-то покрашено, но выцарапано так глубоко, что всё ещё видно через слои краски.

Это тени, оставленные тысячами мгновений — тысячами настроений — желаний — оставленные на стене мужчинами, которые ушли — это запись об их пребывании здесь — их визитах — их посещениях — это то, что психолог назвала бы «первоисточником».

История неприятия.

«Приходи вечером, отсосу бесплатно, суббота, восемнадцатого июня тыщу девятьсот семьдесят третьего».

Всё это выцарапано на стене.

Прямо над унитазом напротив двери написано: «Твое счастье — в твоих руках».

Слова без картинок — секс без имён — картинки без слов — выцарапана голая женщина с раздвинутыми длинными ногами — с большими грудями — длинными волосами — и без лица — напротив её волосатой промежности — бесхозный член размером с человека, роняющий огромные капли.

«Рай — это сколько хочешь пёзд», выцарапано на стене.

«Рай — это ебля в жопу».

«Пошёл на хуй мудака».

«Был там».

«Отсоси».

«Делал это».

Вокруг меня эти голоса — и настоящий голос, женский голос, шепчет: «Тебе нужна ещё одна катастрофа, да?»

Этот голос доносится из дырки, но когда смотришь, можно увидеть только две накрашенные губы — красные губы — белые зубы — мельком — влажный язык — говорящий: «Я знала, что ты будешь здесь. Я знаю *всё*».

Изобилия.

Теперь дырка — это один серый глаз, кажущийся большим из-за голубых теней и карандаша и моргающих ресниц, тяжёлых от туши — зрачок расширяется и снова сжимается — потом появляется рот, чтобы сказать: «Не дергайся. Твой самолёт будет задержан ещё на несколько часов».

На стене рядом со ртом написано: «Сосу и глотаю».

Рядом нацарапано: «Я хочу любить её, если она мне даст шанс».

Написано стихотворение, которое начинается со слов «Тепло внутри тебя — любовь...» — остаток размыт и стёрт брызгами спермы.

Рот говорит: «Я здесь на задании».

Это, наверное, её жуткая работа.

«Это моя жуткая работа, — говорит она. — Это течка».

Это не то, о чём мы говорим.

Она говорит: «Я не хочу об этом говорить».

Поздравляю, шепчу я. Я о пчёлах-убийцах.

На стене написано: «Как называется Правоверная, раздвигающая ноги?»

Труп.

«Как называется Правоверный пидор, которого ебут в жопу?»

Рот говорит: «Тебе нужна ещё одна катастрофа, да?»

Лучше пятнадцать или двадцать, шепчу я.

«Нет», — говорит рот. — «Ты такой же, как все парни», — говорит она. — «Ты *жадный*».

Я просто хочу спасти людей.

«Жадная свинья».

Я хочу спасти людей от несчастий.

«Ты собака, показывающая фокусы».

Ладно, тогда я наконец-то могу убить себя.

«Я не хочу, чтобы ты умирал».

Почему?

«Что “почему”?»

Почему она хочет, чтобы я был жив?

Потому что я ей нравлюсь?

«Нет», — говорит рот. — «Ты мне *нужен*».

Но я ей не нравлюсь?

Рот говорит: «Ты хоть понимаешь, как всё это для меня скучно? Знать *всё*? Видеть всё приближающимся за миллионы миль? Это невыносимо. И это не только я».

Рот говорит: «Нам всем скучно».

На стене написано: «Я ебал Санди Мур».

Вокруг десять других надписей: «Я тоже».

Ещё кто-то написál: «Хоть кто-нибудь здесь не ебал Санди Мур?»

Рядом написано: «Я».

Рядом написано: «Гомик».

«Мы все смотрим *те же* телепрограммы», — говорит рот. — «Мы все слушаем *те же* радиопередачи, мы говорим *об одном и том же*. Не осталось неожиданностей. *Всё одно и то же*. Повтор».

В дырке красные губы говорят: «Мы все росли под *одни* телешоу. Это как будто нам всем пересадили *одну и ту же* память. Мы почти не помним наше настоящее детство, но помним всё, что случалось с героями сериалов. У нас у всех *одни* цели. У нас у всех *одни* страхи».

Губы говорят: «Будущее — *не* светлое».

«Скоро у нас у всех будут *одинаковые* мысли в одно время. Мы будем в унисоне. Синхронизированные. Стандартизированные. Равные. Идентичные. Как муравьи. Насекомые. Овцы».

Всё так старó.

Цитата из цитаты из цитаты.

«Главный вопрос, который задают люди, это не “В чём смысл жизни?”» — говорит рот. — «Главный вопрос, который они задают, это “Почём брали?”»

Я слушал у дырки — как слушал людей, исповедующихся мне по телефону — как прислушивался к склепам.

Я спрашиваю, так почему я ей нужен?

«Потому что ты вырос в другом мире», — говорит рот.

«Потому что если кто-нибудь и сможет меня удивить, так это *ты*. Ты — не часть массовой культуры, *ещё* — *нет*. Ты — моя единственная надежда на что-нибудь новое. Ты — волшебный принц, который может разрушить заклятие скуки. Этот транс одинаковых дней. Там — был... Это — делал...»

Нет, шепчу я, не такой уж я и другой.

«Именно такой», — говорит рот. — «И я надеюсь только на то, что ты *останешься* другим».

Так дай мне ещё предсказаний.

«Нет».

Почему нет?

«Потому что я больше никогда не увижу тебя. Мир людей сожрёт тебя, и я тебя потеряю. Теперь я буду давать тебе по одному предсказанию в неделю».

Как?

«Вот так», — говорит рот. — «Как сейчас. И не волнуйся. Я тебя найду».

21

t w e n t y o n e

д в а д ц а т ь о д и н

Е СЛИ ВЕРИТЬ МОЕМУ ГРАФИКУ, Я В ТЁМНОЙ ТЕЛЕСТУДИИ НА коричневом диване.

На ощупь — шестьдесят на сорок синтетика и шерсть — обработан и устойчив к пятнам — не бликует под дюжиной прожекторов — мои волосы уложены тем-то — одежда пошита теми-то — украшения предоставлены таким-то.

Моя автобиография говорит, что я никогда не был так счастлив и доволен в своей радости жить каждый день по полной — пресс-релизы говорят, я готовлю новую телепрограмму — полчаса каждой ночью — отвечая на звонки зрителей — я открываю новые перспективы.

Если верить пресс-релизам, каждое шоу будет содержать новое предсказание — катастрофу — землетрясение — цунами — дождь из омаров могут направляться *к вам*, так что лучше настройтесь на волну, на всякий случай.

Это как теленовости до события.

Пресс-релизы называют новое шоу «Мир в душах».

Если это так называется.

Это Изабилия сказала, что однажды я буду знаменит — она сказала, что я расскажу о ней всему миру, так что лучше придерживаться истины.

Изабилия сказала, когда я буду знаменитым, чтобы описал её глаза как кошачьи — её волосы, сказала она, были размётаны бурей — это её собственные слова — ах да, и губы были словно изжалены пчёлами.

Она сказала, что её руки гладкие как куриная грудка без кожи.

Если верить Изобилии, она ходила *зававно*.

«Когда ты будешь знаменит, — сказала она мне, — не делай из меня монстра или какую-нибудь жертву».

Изобилия сказала: «Ты собираешься продать всю свою религию и всё во что веришь, но только не ври *про меня*, хорошо? *Пожалуйста*».

Так что часть моего превращения в знаменитость — это я делаю эту еженедельную программу с известной журналисткой, которая представляет меня — она прерывается на рекламу — она обеспечивает меня звонящими людьми с вопросами — суфлирующий монитор подсказывает мне ответы — люди звонят по бесплатной линии.

Спаси меня. Исцели меня. Накорми меня. Услышь меня.

Это то, чем я занимался в свое собачьей конуре — квартире, только в национальном эфире.

Мессия. Спаситель.

Избавь нас. Спаси нас.

Исповеди мне в квартире — исповеди мне по национальному телевидению — это всё как моя история сейчас в бортовой самописец — *моя исповедь*.

С наркотиками, которые я принимал на этом этапе карьеры, если хочешь спать ночью, лучше не читать описание в коробочке — побочные эффекты не включают ничего из того, что стоит сделать на телевидении.

Рвота. Газы. Понос.

Побочные эффекты включают в себя:

Головные боли. Жар. Головокружение. Сыпь. Повышенное потоотделение.

Я могу загигать пальцы:

Нарушения пищеварения. Запоры. Слабость. Сонливость. Изменения вкуса.

Если верить моему личному тренеру, это «примаболин» вызывает у меня шум в голове — у меня трясутся руки — пот выступает на затылке — это может быть взаимодействие наркотиков — если верить моему личному тренеру, это хорошо — просто сидя здесь, я теряю вес.

Если верить моему личному тренеру, лучший способ достать нелегальные стероиды — это найти кошку, больную лейкемией, и повезти её по ветеринарам, которые выпишут уже заряженные шприцы со стероидами для животных — совсем как лучшие стероиды для людей.

Он сказал, если кошка проживёт достаточно долго, можно запастись на год.

Когда я спросил его, что случится с кошкой, он спросил, какая разница.

Журналистка сидит напротив меня — её ноги не слишком длинные по сравнению с остальным телом — она показывает уши настолько, чтобы было видно серьги — все её проблемы спрятаны внутри — все её недостатки скрыты — от неё пахнет только лаком для волос — даже дыхание — она сидит в кресле — нога на ноге — руки скрещены — не поза, а оригами[†] из плоти и крови.

Если верить сценарию, я на диване в островке горячего света — окружённый телекамерами — и кабелями — и молчащими техниками — которые делают свою работу вокруг меня — в темноте — агент там — в темноте — со скрещенными руками — смотрящий на часы — агент поворачивается к писателям, делающим последние исправления в тексте, который появится на суфлирующем мониторе.

На маленьком столике у дивана стакан ледяной воды — я поднимаю его и мои руки так трясутся, что кубики льда звенят — агент качает мне головой и одними губами говорит: нет.

Мы в эфире.

Если верить журналистке, она чувствует мою боль — она читала мою автобиографию — она знает, через какие унижения я прошёл — про испытания, которые нужно было пройти голым — и потом быть проданным — как раб — голым — мне

[†] Японское искусство складывания фигурок из бумаги.

было семнадцать или восемнадцать — и все эти люди — все члены культа — они — смотрели — на меня — голого.

Голый раб, говорит она.

В рабстве.

Голый.

Агент прямо передо мной — за плечом журналистки — с писателями вокруг него — в темноте — одетые.

Рядом с агентом, монитор говорит мне: «Я чувствовал себя осквернённым, когда меня как раба продавали с аукциона».

Если верить монитору, «Я чувствовал себя глубоко униженным».

Если верить монитору, «Я чувствовал себя использованным и поруганным... развращённым».

Команда писателей суетится вокруг суфлирующего монитора и беззвучно проговаривает губами слова, когда я читаю их вслух.

Пока я читаю всё это вслух под прицелом камер, журналистка смотрит в темноту на режиссёра и касается запястья — режиссёр показывает два пальца — потом восемь — техник входит в свет прожекторов и поправляет журналистке локон волос около уха.

Монитор говорит мне: «Меня домогались сексуально. Сексуальное домогательство было обычным делом среди членов культа Правоверных. Инцест был обычной частью семейной жизни. Как и секс со всеми видами животных. Популярным было поклонение Сатане. Правоверные приносили детей в жертву Сатане всё время, но только как следует подмогавшись их. Потом Правоверные церковные старейшины убивали их. Пили их кровь. Это были дети, рядом с которыми я каждый день сидел в школе. Церковные старейшины поедали их. В полнолуние церковные старейшины танцевали голыми, одевшись только в кожу мёртвых Правоверных детей».

Да, говорю я, это было ужасным, *ужасным* стрессом.

Монитор говорит: «Вы можете найти красочные описания сексуальных преступлений Правоверных в моей книге. Она на-

зывается "Спасённый от Спасения" и продаётся в книжных магазинах по всей стране».

В тени агент и писатели молча жестами показывают друг другу «пять». Агент показывает мне большие пальцы.

Я не чувствую своих рук — я не чувствую своего лица — мой язык принадлежит не мне — мои губы мертвы от того, что называется «циркуморальная парестезия»†.

Побочные эффекты.

То, что называется «периферийная парестезия» — я не чувствую своих ног — моё всё тело как будто далеко — отдельно от меня — картинка меня в чёрном костюме — сидящего на коричневом диване — в студийном мониторе — наверно это как когда душа отлетает на Небеса и смотрит на тело — как твоя плоть и кровь умирает.

Режиссёр показывает мне пальцы, два на одной руке и четыре на другой — я не знаю, что он хочет мне сказать.

Большая часть того, что на мониторе — это из автобиографии, которую я не писал — из ужасного детства, которого я не переживал.

Если верить монитору, все Правоверные горят в Аду.

Монитор говорит мне: «Я никогда не избавлюсь от болезненного унижения и боли, как бы богат я ни стал, когда я унаследую землю церковного округа Правоверных».

Если верить монитору, «Моя новейшая книга, "Книга совсем обычных молитв", это важный инструмент для того, чтобы справляться со стрессами, которые мы все испытываем. Она называется "Книга совсем обычных молитв" и продаётся в книжных магазинах по всей стране».

Если верить журналистке которая смотрит на режиссёра который смотрит на агента который смотрит на меня который смотрит на монитор — если верить ей, то я счастлив и доволен тем, что теперь свободен от культа смерти Правоверных — когда мы продолжим, говорит она камерам, мы будем принимать звонки телезрителей.

† Парестезия — ощущение онемения, покалывания, ползания мурашек и т.п., не обусловленное внешним раздражением. Циркуморальный — здесь: сосредоточенный в области рта и ротовых мышц.

Журналистка прерывается для рекламы.

Во время рекламы она спрашивает, было ли моё детство действительно таким ужасным — и агент подходит и говорит — да, было, это было ужасно — техник тянет проводы, висящие у него на поясе и около головы — подходит и спрашивает, не хочу ли я воды — и агент отвечает — нет — режиссёр спрашивает — не нужно ли мне в туалет — и агент говорит, что я в норме — он говорит, что я не люблю, когда мне задают вопросы — я оставил физические нужды позади.

Техник у камеры округляет глаза — режиссёр и журналистка смотрят друг на друга и пожимают плечами, как будто это я их отшил.

Режиссёр говорит, что мы в эфире — и журналистка говорит, что первый звонящий на связи.

«Если я в наполненном ресторане, — звонит голос женщины из студийных динамиков, — это очень дорогой ресторан, и кто-то рядом со мной пускает газы, не один раз, снова и снова, и это ужасно, что мне делать?»

Журналистка прикрывает лицо одной рукой — режиссёр отворачивается — агент смотрит на писателей, готовящих мой ответ на мониторе.

Чтобы потянуть время, журналистка спрашивает, что женщина ела.

«Что-то со свиной, — говорит женщина. — Это не важно. Запах был такой, что я больше ничего не чувствовала».

Монитор говорит: «Господь даровал нам многие чувства».

Монитор *тоже* тянет время.

«Среди этих чувств — обоняние и вкус».

Как только строчки показываются на мониторе, я читаю их вслух.

«Но только человек судит, хороши ли дары или плохи. Для Господа же запах падали всё равно, что запах хорошей свинины или вина».

Я понятия не имею, к чему они ведут.

«Не печальтесь и не веселитесь. Не радуйтесь и не оскорбляйтесь такими дарами. Не судите, да не судимы будете».

Режиссёр говорит одними губами: «Burma Shave»[†].

Журналистка говорит: «Звонок номер два, вы в эфире».

Звонящий номер два спрашивает, что я думаю о купальниках-верёвочках.

Монитор говорит: «Мерзость».

Я говорю — после многих лет стирки для богатых людей, я думаю, что люди, которые делают такие купальники и бельё, должны для начала сделать верёвочку чёрной.

Журналистка говорит: «Звонок номер три, вы в эфире».

«Есть один парень, который мне нравится, но он избегает меня».

Это Изобилия — это её голос в динамиках говорит со мной — говорит со мной на всю Северную Америку — неужели она ищет ссоры — здесь — на телевидении — в моих мыслях всё враньё, что я говорил — и что я могу ответить на то, что она скажет.

Неужели она расскажет обо мне и о моих предсказаниях катастроф — неужели она сложила два и два и догадалась, что я довёл её брата до самоубийства — или она это давно знает — и если она знает, что я убил её брата — тогда что?

«Этот парень, который мне не звонит, я рассказала ему о том, что делаю, — говорит она. — О своей работе. Он не одобряет, только *делает вид*, что всё нормально».

Журналистка спрашивает, какая работа у Изобилии.

Монитор пуст.

И вся Америка сейчас узнает страшную тайну или о Изобилии, или обо мне — её ужасную работу — мою убийственно-самоубийственную горячую линию — её сны о катастрофах — мои одолженные предсказания.

«У меня есть агент, его зовут доктор Амброуз, — говорит Изобилия, — только он не настоящий доктор».

Изобилия мне сказала как-то, что все в мире, даже мусорщики и посудомойки, когда-нибудь заведут агента.

[†] Очевидно, режиссёр призывает журналистку и героя к краткости. Имеется в виду рекламная кампания фирмы «Burma Shave», рекламные щиты вдоль шоссе с короткими фразами в несколько слов.

Её доктор Амброуз находит семейные пары с деньгами, ищущие кого-нибудь, чтобы родить им ребёнка — суррогатную мать — доктор Амброуз называет это «процедурой» — она проводится in utero[†] отцом и Изобилией в постели — а его жена ждёт за дверью.

«Жена будет в коридоре, будет вязать или изучать детские имена, — говорит Изобилия, — а её муж будет аккуратно вливать в меня содержимое своих яиц».

Первый раз, когда она мне рассказала о своей работе, когда я был никем с телефоном поддержки дома, она сказала, что Изобилия Холлис — это псевдоним^{††} — на самом деле её зовут Гвен, но это имя она ненавидит.

«Я и отец ребёнка — это вполне естественно, говорит доктор Амброуз. Это его ключик к отчаявшимся парам. Это не измена. Это вполне религиозно».

Это не обман и не проституция, сказала она мне.

«Это есть в Библии», — говорит Изобилия.

Это стоит пять тысяч долларов.

Ну, знаешь, Бытие, глава тридцать, Рахиль и Валла, Лия и Зелфа[‡].

Валла не предотвращала зачатие, хочу я сказать ей — Зелфа не получала пять тысяч наличными — они были настоящими рабынями — они не разъезжали по стране и не давали неудавшимся отцам, жаждущим наследника.

Изобилия живёт с парой неделю, но каждое повторение процедуры — это ещё пять тысяч — с некоторыми мужчинами это может значить пятнадцать тысяч за ночь — плюс пара должна оплатить ей перелёт.

[†] In utero (лат.) — внутриутробно.

^{††} см. примечание к главе 42.

[‡] Бытие, 30:1–30:5. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову... Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от неё. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему; и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына».

Бытие, 30:9–30:10. «Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала её Иакову в жену. И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына».

«Доктор Амброуз — это просто голос в телефоне, который назначает встречи», — говорит Изобилия. — «Не то, чтобы он не был реальным человеком. Пара платит ему, и он посылает мне половину денег наличными. Обратного адреса никогда нет. Он такой трус».

Я знаю это чувство.

Монитор говорит: «Шлюха».

«Всё, что мне нужно — это не беременеть, и у меня получается».

Это её призвание, сказала она мне, быть бесплодной.

Монитор говорит: «Потаскуха».

Через динамики она говорит это: «Я стерильна».

Монитор говорит: «Блудница».

Это её единственный востребованный навык, её талант.

Это работа, для которой она была рождена.

Она не платит налогов — она любит путешествовать — она живёт в дорогих отелях — у неё гибкий график работы — она сказала мне, что в некоторые ночи она засыпает прямо во время процедуры — с некоторыми отцами она спит — и ей снятся пожары — рушащиеся мосты — землетрясения.

«Я не думаю, что делаю что-то плохое», — говорит она. — «Мне кажется, кому-то ведь нужно это делать».

Монитор говорит: «Гори в палящем вечном пламени Ада ты, языческая дьявольская блудница!»

Изобилия говорит: «Так как вы думаете?»

Журналистка смотрит на меня так пристально, что не замечает, что у неё на лоб падают волосы — режиссёр смотрит на меня — агент смотрит — журналистка с трудом сглатывает — писатели скармливают текст суфлирующему монитору.

«Молись о смерти, прелюбодействующая дьявольская шлюха».

Вся Америка настроена на волну.

«Нет тебе прощения, дьявольская порочная девка».

Агент мотает головой, нет.

Экран монитора на секунду очищается, писатели пишут, снова появляется текст.

«Нет тебе прощения, дьявольская порочная женщина».

Голос Изобилии говорит: «Так что вы думаете?»

«Шлюха».

Агент показывает на меня — показывает на монитор — на меня — на монитор — снова и снова — быстро.

«Блудница».

«Вы не хотите вынести суждение обо мне, нет?»

«Иезавель».

Мёртвый эфир[†] идёт в спутники, кто-то *должен* сказать что-то.

Не чувствуя своего рта — я читаю слова с монитора — не чувствуя своих губ — я только говорю, что мне велели сказать.

Журналистка говорит: «Звонок номер три? Вы здесь?»

Режиссёр показывает нам пальцы, пять четыре три два один, потом проводит пальцем по горлу.

[†] Мёртвый эфир — здесь: заминка, незапланированная пауза при трансляции в прямом эфире.

20

t w e n t y

д в а д ц а т ь

ЧТО ЕЩЁ ЛЮДЯМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ МОЙ самолёт разобьётся, так это что я *не носился* с идеей Порносвалки.

Агент всегда кладёт документы передо мной и говорит, подпиши это.

Он говорит, подпиши здесь.

И здесь.

Здесь.

И здесь.

Агент говорит мне поставить инициалы у каждого абзаца.

Он говорит, не пытайся это читать, ты не поймёшь.

Так и появилась Порносвалка.

Это была не моя идея взять все двадцать тысяч акров округа церкви Правоверных и превратить в хранилище устаревшей порнографии, — журналов — игральных карт — видеокассет — компакт-дисков — изношенные вибраторы — проколотые надувные куклы — искусственные влагалища — двадцать четыре часа в день бульдозеры разравнивают всё это — это двадцать тысяч акров — два ноль ноль ноль ноль акров — каждый квадратный фут земли Правоверных — дикая природа уничтожена — подземные воды загрязнены.

Это сравнивали с Каналом любви, и это не моя вина.

Пока не закончилась плёнка в самописце, людям нужно знать, *кого* винить — это агент.

«Книга совсем простых молитв» — телешоу «Мир в душах» — Американская корпорация «Порносвалка» — кампания «Бытие» — статуэтки Труженика Брэнсона — даже моё особое чудо в перерыве суперкубка — всё это придумал *агент*.

И все они зарабатывали кучи денег.

Но важно то, что всё это — *не моя идея*.

С Порносвалкой, агент рассказал мне это как-то в Далласе или в Мемфисе — вся моя жизнь тогда была стадионами и номерами отелей — разделёнными аэропланами вместо расстояний — весь мир был просто узорами на ковре у меня под ногами — нейлон с цветами — или корпоративными логотипами — на тёмно-синем — или сером — устойчивый к грязи и сигаретным ожогам.

Весь мир стал общественными туалетами, где Изобилия из соседней кабинки шепчет: «Туристический корабль налетит на айсберг завтра вечером».

Шепчет: «В два часа дня по восточному времени, в следующую среду, с лица земли исчезнет последняя боливийская серая пантера».

Агент говорит, что главная проблема большинства американцев — это утилизация порнографии в безопасном, частном порядке — в Америке, говорит он, огромные коллекции журналов «Playboy» или «Screw»[†], которые никого больше не возбуждают — склады и полки видео неизвестных с длинными бакенбардами и голубыми тенями для глаз, стонущих под плохую ворованную музыку.

Что нужно Америке, говорит он, это место для хранения устаревших непристойностей, подальше от детей и приличных женщин.

Агент говорит со мной, уже запустив разработку проекта захоронения бумаги — пластика — эластика — латекса — резины — стальных застёжек — молний — хромированных колец — винила — смазок на виниловой — масляной — водной основе — и нейлона.

Его идея была основать пункты сбора, куда люди могут отдавать порно, не отвечая на вопросы — оттуда местные фи-

[†] to screw (англ., сленг) — трахать.

лиалы будут вывозить порно в таких же защитных контейнерах как химические или биологические отходы — порно будет направляться в бывшую колонию Правоверных в центральной Небраске, где будет отсортировано.

Будут три категории.

Мягкое порно. Жёсткое порно. И детское.

Первой категории будет позволено гнить на поверхности земель. Вторая категория будет бульдозерами закопана в землю. Третью будут обрабатывать только незаинтересованные люди в защитных костюмах — в резиновых перчатках и обуви — дышащие через противогазы — будут запечатывать детское порно в подземных хранилищах, где оно будет храниться миллионы лет своего периода полураспада.

Если верить агенту, мы должны заставить людей *испугаться* порноугрозы.

Мы должны добиться правительственного решения, которое сделает обязательным избавление от порно безопасным, надёжным способом — *нашим* способом — и как при утилизации моторного масла или асбеста — если люди хотят избавиться от этого, им придётся заплатить.

Мы покажем людям, как выброшенное порно заполняет улицы, развращая детей и подталкивая к сексуальным преступлениям.

Мы будем получать доход с каждой тонны принятого материала — местные филиалы по сбору будут взимать деньги с клиентов — плюс процент для прибыли — мы заработаем деньги — местные филиалы заработают деньги — Джо Минет[†] сможет спокойно покупать новое порно — порноиндустрия станет богатой.

Ну хорошо, говорит мне агент, станет *ещё богаче*.

Если верить агенту, это беспроегрешная беспроегрешная беспроегрешная идея.

Но так не вышло.

[†] в оригинале — Joe Blow, имя созвучное имени «John Doe» (Джон Доу), традиционно используемому в юриспруденции и литературе для обозначения неизвестного, или человека, чья личность не имеет значения в данном случае.

Агент уже составлял черновик федерального закона, устанавливающего процент надбавки к цене порнографических изделий, который через правительство возвращался бы как оплата за утилизацию выброшенной порнографии — деньги со специального порноналога предназначались для вычищения нелегальных свалок — какой-то процент должен был отправляться в фонд реабилитации сексуально зависимых — но не очень большой.

Прежде чем я услышал хоть что-то о Порносвалке, заключение экологов уже было сфальсифицировано — результаты тестов подделаны — агент день и ночь рассылал факсы церквям и религиозным общинам, пробуя воду — депутаты осторожно начинали лоббировать закон.

Было двадцать тысяч акров церковного округа Правоверных с призраками, которые никто не хотел покупать. И были миллионы персональных свалок порнографии, которая никому не была нужна. И это имело смысл для всех кроме меня.

Это не было *моим* решением — я пробовал и *другие* пути — я прочёл «Молитву, чтобы создать ещё места для хранения» — проглотил четыре тысячи миллиграммов прототипов таблеток «Gamasease» — я думал, что это поможет решить проблемы Америки — я прочёл «Молитву, чтобы переработать старые газеты», но это было не совсем то — я прочёл «Молитву, чтобы отложить решение», но агент не дал этого сделать.

Если верить утренним газетам, Билль о захоронении непристойных материалов прошёл Палату и Сенат, и президент подписал его и возвёл в ранг закона.

Агент продолжал говорить мне, подпиши здесь.

Инициалы здесь.

И здесь.

И здесь.

Я прочёл «Молитву, чтобы подписать важные бумаги, которых не читал».

Если верить Изобилии, это Порносвалка заставила моего брата Адама выйти из тени.

Моё участие в проекте было только подписывание каких-то бумаг, но с тех пор Америка считает, это *моя* вина, что они

должны платить лишних два доллара, когда покупают эротический журнал.

После этого Адам Брэнсон появился и приставил пистолет к голове Изобилии, чтобы заставить её выследить меня — как будто Изобилия не знала, что так будет.

Изобилия знала *всё*.

Изобилия сказала описать угрозу моего брата убить её как хорошо обдуманную.

Позже, когда была моя очередь держать тот же пистолет у головы пилота этого самолёта, тогда я понял, *как быстро* случаются такие вещи.

И всё же *это меня* ненавидят люди, меня, *это я* — брат Национального санитарного захоронения непристойных материалов имени Труженика Брэнсона.

В последний раз, когда Изобилия встречалась с накачанным подтянутым загоревшим выбритым мной, она сказала, что я изменился до неузнаваемости.

Она сказала: «Тебе нужен несчастный случай?»

Она сказала: «Посмотри в зеркало».

Адам всё ещё охотился за мной, если это кому-то интересно.

Адам — брат, которого Изобилия сказала описать как «святого».

19

n i n e t e e n

д е в я т н а д ц а т ь

ПРЕЖДЕ ЧЕМ САМОЛЁТ РАЗОБЬЁТСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЛЁНКА в самописце закончится, вот ещё ошибки, в которых я хотел признаться.

Телевизионное шоу «Мир в душах».

Статуетка Труженика Брэнсона для приборной доски автомобиля.

Настольная игра «Библейское поле чудес».

Агент говорит, что секрет в том, чтобы реализовывать все проекты одновременно — тогда, даже если один и провалится, то сработают остальные.

Так что были:

Библейская диета.

Книга «Библейские секреты больших денег».

Книга «Сексуальные секреты Библии».

«Библейская книга по перепланировке кухонь и ванных».

Был освежитель воздуха имени Труженика Брэнсона.

Была кампания «Бытие».

Была «Книга совсем простых молитв, часть вторая», только молитвы в ней стали немного ёбнутыми.

Например — «Молитва, чтобы в тебя влюбились».

Или — «Молитва, чтобы ослепить врага своего».

Всё это поставлялось добрыми людьми из ЗАО «Труженик Брэнсон».

И ничто из этого *не было* моей идеей.

Кампания «Бытие» была *не моей* идеей, я боролся с кампанией «Бытие» зубами и ногтями.

Проблема была в том, что люди часто спрашивали меня, девственник ли я — интеллигентные люди спрашивали, не является ли это признаком ненормальности, быть девственником в моём возрасте.

Люди спрашивали, какая у меня проблема с сексом, что со мной не так?

Кампания «Бытие» была агентovým исправлением — всё больше в моей жизни было исправлений исправлений исправлений — пока я не забуду, в чём была проблема.

Проблема в том, что просто нельзя быть девственником средних лет в Америке, если с тобой всё нормально — люди не могут поверить в чужую добродетель, если сами не такие — чем верить, что ты сильнее, легче думать, что ты слабее — что пристрастился к самоунижению — что ты врёшь — людям всегда легче поверить в совсем другое, чем ты им говоришь.

Ты просто не контролируешь себя.

Тебя кастрировали ребёнком.

Кампания «Бытие» была очень рискованной акцией.

Агент решил всё исправить и женить меня.

Он говорит мне это как-то в лимузине.

Едущий с нами мой личный тренер говорит, что тонкие инсулиновые иглы лучше, потому что не так повреждают вены — рекламист тоже здесь — она и агент смотрят в окно, пока тренер затачивает иглоку о полоску на спичечном коробке и вкалывает мне 50 миллиграммов «лаураболина».

Это не больно, если пользоваться инсулиновыми иглами.

О сексе агент говорит мне, что как бы тебе его ни хотелось, ты *можешь* о нём забыть — ещё когда он был подростком, у него появилась аллергия на молоко — он любил молоко, но не мог его пить — годы спустя разработали молоко без лактозы, которое он *мог* пить — но теперь он ненавидит вкус молока.

Когда он бросил пить алкоголь из-за проблем с почками, он думал, что сойдёт с ума, а теперь никогда и не думает о выпивке.

Чтобы на моём лице не появлялись морщины, команда дерматологов вколола в мышцы моего лица, под глаза, «ботокс», токсин вируса ботулизма, чтобы парализовать эти мышцы на полгода.

Из-за периферийной парестезии, побочного эффекта наркотиков, я еле чувствую руки и ноги — из-за инъекций «ботокса» моё лицо почти неподвижно — я могу улыбаться и говорить, но с трудом.

Лимузин движется к самолёту, который движется к следующему стадиону Бог знает где — если верить агенту, Сиэтл — это просто географическая область вокруг стадиона «Kingdome» — Детройт — это люди, живущие вокруг стадиона «Silverdome» — мы никогда не едем в Хьюстон — мы едем на стадион «Astrodome» — «Superdome» — стадион «Mile High» — стадион RFK — стадион Джека Мерфи — стадион «Jacob's Field» — стадион «Shea» — стадион «Wrigley Field» — у всех этих мест есть города, но они не имеют значения.

Координатор мероприятий тоже едет с нами, и даёт мне список имён, кандидатов, женщин, которые хотят выйти за меня, и агент даёт мне выучить список вопросов.

Наверху страницы первый вопрос: «Какую женщину в Ветхом Завете Господь обратил в приправу?»[†]

Координатор мероприятий планирует большое романтическое венчание на пятидесятиардовой линии во время перерыва суперкубка — цвета оформления венчания будут зависеть от того, какие команды выйдут в финал — вероисповедание будет зависеть от войны ставок — очень тихой войны ставок, идущей чтобы сделать меня католиком — или евреем — или протестантом — раз церковь Правоверных приказала долго жить.

Второй вопрос на странице: «Какую женщину в Ветхом Завете съели собаки?»

Ещё один вариант, который рассматривает агент, — это обойтись без посредников и основать собственную большую религию — сделать торговую марку узнаваемой — работать с клиентами напрямую.

[†] Можете не гадать. Это жена Лота, обращённая в соляной столп.
(:

Третий вопрос на странице: «Могло ли вечное счастье в Райском Саду стать столь скучным, что съесть яблоко было неизбежным?»

В лимузине, шесть или семь нас сидят лицом друг к другу на двух сиденьях, с перемешанными коленями.

Если верить рекламисту, всё уже готово, комитет уже выбрал хорошую несектантскую невесту, так что мои вопросы будут так, для формы.

Комитет с нами в лимузине — люди смешивают напитки из бара и передают друг другу — невестой будет женщина, только что нанятая как помощник координатора мероприятий — она в лимузине с нами — сидит напротив меня и наклоняется вперёд.

Привет, говорит она. И она уверена, что мы будем счастливы вместе.

Агент говорит, нам нужно большое чудо для венчания.

Рекламист говорит, *очень большое*.

Агент говорит, я должен сделать *самое большое* чудо в своей карьере.

Когда Изобилия злится на меня — брат на свободе — лаураболин вколот мне в кровь — схема турнира свиданий для выбора моей спутницы жизни — проект «Бытие» — незнакомка готова выйти за меня и лишиться девственности — и моё желание покончить с собой — не знаю, что с ним случилось.

Помощник секретаря координатора мероприятий говорит, что у нас закончилась водка — он в лимузине с нами — и закончилось белое вино тоже — зато у нас полно тоника.

Все смотрят на меня.

Не важно, что я делаю, им нужно больше — лучше — быстрее — разнообразней — новее — больше — Изобилия была права.

И теперь агент говорит, что мне нужно самое большое чудо в моей карьере, он говорит: «Ты должен эффектно завершить это».

Аминь, говорю я. Я серьёзно.

18

e i g h t e e n

в о с е м н а д ц а т ь

ЛЮДИ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ МЕНЯ, УМЕЮ ЛИ Я ОБРАЩАТЬСЯ С ТОСТЕРОМ.

Знаю ли я, как работает газонокосилка?

Знаю ли я, зачем нужен бальзам для волос?

Люди не хотят, чтобы я вёл себя как любой человек — они ищут во мне эту райскую, до-яблочную невинность — вроде наивности маленького Иисуса.

Люди спрашивают, знаю ли я, как работает телевидение?

Нет, не знаю, как и большинство людей.

Правда в том, что я и так не был великим учёным, и с каждым днём только хуже — я не совсем тупой, но скоро стану — хотя нельзя прожить всю взрослую жизнь в мире вокруг и не узнать некоторых вещей.

Я знаю, как пользоваться консервным ножом.

В моей жизни известным знаменитым прославленным религиозным лидером самое трудное — это жить, оправдывая их ожидания.

Люди спрашивают, знаю ли я, зачем нужен фен?

Если верить агенту, секрет успеха — это быть безопасным — быть ничем — быть пустым местом — чтобы люди сами додумывали — быть зеркалом.

Я — религиозная версия победителя лотереи — Америка полна богатых и знаменитых, но я редкая комбинация — знаменитый и глупый — известный и покорный — невинный и бо-

гатый — я просто живу своей маленькой жизнью, думают люди — каждодневной жизнью Жанны д'Арк — моешь тарелки как Дева Мария — и вдруг выпадает твой номер.

Люди спрашивают, знаю ли я, кто такой мануальный терапевт?

Люди спрашивают, умею ли я выписывать чеки.

Люди думают, что святость — это просто случается с тобой — вот так всё просто — стоишь себе в аптеке, и там тебя и нашли.

Может быть, в одиннадцатом веке и можно было быть таким пассивным — а теперь есть лазерная обработка чтобы удалить морщины перед съёмкой поздравления с рождеством на телевидении — теперь есть наркотики — есть абразивная обработка кожи — Жанне д'Арк было легче.

Люди спрашивают, почему я не женат — есть ли у меня грязные мысли — верю ли я в Бога — занимаюсь ли онанизмом.

Знаю ли я, зачем нужен уничтожитель бумаг?

Не знаю — не знаю — сомневаюсь — не скажу — и у меня есть агент, чтобы рассказать мне *всё* об уничтожителях бумаг.

В этот момент в почте появляется копия «Диагностического и статистического справочника психических нарушений».

Какой-то клерк в команде обработки почты направляет его к помощнику начальника отдела по связям с общественностью, который передал это одному из помощников рекламиста, который передал это следящему за распорядком дня, который положил это мне на поднос с завтраком в постель в отеле.

Четыреста тридцать граммов сложных углеводов — шестьсот граммов яичного протеина — и пропавший ДСС мёртвой психолога.

Почта приходит по десять мешков за раз.

У меня есть собственный почтовый индекс.

Избавь меня. Обогрей меня. Спаси меня. Накорми меня — говорят буквы.

Мессия. Спаситель. Вождь — так они называют меня.

Еретик. Богохульник. Антихрист. Дьявол — так они тоже меня называют.

Так что я сижу в кровати с подносом с завтраком на коленях и читаю справочник — на посылке нет обратного адреса, но под обложкой подпись психолога.

Странно, как имя переживает человека — подпись переживает подписавшего — символ переживает своего хозяина — это как имена, выбитые на камне каждого склепа в Колумбийском мемориальном мавзолее — осталось только имя психолога.

Мы чувствуем превосходство над мёртвыми.

Например, если Микеланджело был такой умный, почему же он умер?

Я читаю ДСС и чувствую, что может я и глупый и толстый, но всё ещё живой.

Психолог всё ещё мертва — и вот доказательство того, что всё, что она изучала и во что верила, уже оказалось неправильным — в конце этого издания ДСС — отличия от прошлого издания, правила уже изменились.

То, что было «заторможенным мужским оргазмом» оказалось «нарушением мужского оргазма».

То, что было «психогенной амнезией» стало «диссоциативной амнезией».

То, что было «нарушениями сна» стало «ночными кошмарами».

От издания к изданию меняются симптомы — нормальные люди безумны по новым правилам — люди, которые были безумными, теперь образец психического здоровья.

Без стука входит агент с утренними газетами и застаёт меня в постели, читающим.

Я говорю ему, смотрите, что пришло с почтой — и он забирает у меня книгу из рук и спрашивает, знаю ли я, что такое «вещественное доказательство обвинения»?

Агент видит имя психолога под обложкой и спрашивает, знаю ли я, что такое “предумышленное убийство”?

Агент держит книгу одной рукой и бьёт по ней другой: «Знаешь ли ты, что чувствуешь на электрическом стуле?»

Хлоп.

«Ты понимаешь, *что* обвинение в убийстве сделает с продажами билетов на твой шоу?»

Хлоп.

«Ты когда-нибудь слышал фразу “вещественное доказательство номер один”?»

Я не знаю, о чём он говорит.

Звук пылесосов в коридоре заставляет меня чувствовать себя ленивым — уже почти полдень, а я ещё в кровати.

«Я говорю об *этом*», — говорит агент и двумя руками тычет мне книгой под нос. «Эта книга», — говорит он, — «это то, что полицейские назовут “сувениром на память об убийстве”».

Агент говорит, что полицейские детективы каждый день просят поговорить со мной о найденной мёртвой психологе — ФБР каждый день спрашивает агента, что случилось с ДСС, который исчез вместе с делами пациентов за неделю до того, как она задохнулась парами хлора — правительство недовольно тем, что я покинул город.

Агент спрашивает меня: «Знаешь ли ты, *как* ты близко к выдаче ордера на твой арест?»

Знаю ли я, *кто* главный подозреваемый в убийстве?

Знаю ли я, *на кого* буду похож с этой книгой?

Я всё ещё в кровати — ем тост без масла — овсянку без сахара — я потягиваюсь и говорю: забудьте — расслабьтесь — книгу прислали по почте.

Агент говорит, что это не слишком убедительно звучит.

Он говорит, что я мог сам себе послать книгу по почте. ДСС — это хорошее напоминание о моей прошлой жизни — как бы я себя не чувствовал со всеми наркотиками, расписаниями и нулевой внутренней целостностью — это куда лучше чем чистить туалеты — снова и снова — и не то, чтобы я не воровал раньше.

Ещё один хороший способ украсть что-то в магазине — это взять какую-нибудь вещь и срезать ценник — это работает лучше в больших магазинах с кучей отделов и продавцов, где никто не знает всего — найдите шляпу или перчатки или зонтик, срежьте ярлык и принесите в бюро находок.

Даже не нужно пытаться вынести вещь из магазина.

Если магазин обнаружит нехватку этой вещи, она просто вернётся в свой отдел — но в большинстве случаев она просто остаётся в бюро находок — и если за тридцать дней никто не спросит о ней — она твоя — а поскольку никто не терял её, никто и не будет искать.

Ни один большой магазин не посадит гения в бюро находок.

Агент спрашивает: «Знаешь ли ты, что такое “отмывание денег”?»

Это может быть тем же самым, как если я убил психолога и отослал книгу самому себе по почте — отмыл её, так сказать, — и послал её самому себе — так что теперь могу спокойно сидеть на хлопковых египетских подушках и изображать невинность — думать о совершённом убийстве — есть завтрак до полудня.

Идея «отмывания» чего-нибудь заставляет меня тосковать по дому, по звуку одежды с молниями позванивающими в стиральной машине.

Здесь, в отеле, не нужно долго искать мотив преступления — папка психолога обо мне хранит записи, как она вылечила меня — эксгибициониста, педофила, клептомана.

Агент спрашивает, знаю ли я, на что похоже дознание в ФБР?

Он спрашивает, действительно ли я думаю, что в полиции такие идиоты?

«Предположим, что ты *не* убийца», — говорит агент. — «Ты знаешь, кто послал эту книгу? Кто может пытаться подставить тебя?»

Может быть — наверно да — я знаю.

Агент думает, что это кто-то из другой религии — католики — баптисты — таоисты — евреи — англиканцы.

Это мой брат, говорю я ему — у меня есть старший брат — который может быть всё ещё жив — легко представить как Адам Брэнсон убивает уцелевших так, чтобы полиция подумала, что это самоубийство.

Психолог делала за меня мою работу — легко представить, что она попала в ловушку, установленную для меня — бутылка нашатыря смешанного с хлоркой — просто ждущая под мойкой меня, который откроет крышку и упадёт замертво от запаха.

Книга выпадает у агента из руки и падает на ковер, второй рукой агент вцепляется в волосы.

«Господи Боже», — говорит он.

Он говорит: «Лучше бы ты не говорил мне, что твой брат ещё жив».

Может быть, говорю я — может быть — возможно — да, я видел его в автобусе как-то раз — это было за две недели до смерти психолога.

Агент смотрит в глаза мне, лежащему на кровати в крошках тостов и говорит: «Никого ты не видел!»

Его зовут Адам Брэнсон.

Агент качает головой: «Нет, это не он».

Адам звонил мне и угрожал убить меня.

Агент говорит: «*Никто* тебе не угрожал».

Нет, угрожал — Адам Брэнсон ездит по стране, убивая уцелевших, чтобы мы все отправились на Небеса — или чтобы показать миру единство Правоверных — или отомстить тому, кто пустил слух про трудовых миссионеров — не знаю.

Агент спрашивает: «Ты понимаешь слова “публичное осуждение”?»

Агент спрашивает: «Ты знаешь чего будет стоить твоя карьера, если люди узнают, что ты *не единственный* уцелевший член легендарного бесчеловечного Культа смерти Правоверных?»

Агент спрашивает: «Что если твоего брата арестуют и он расскажет *правду* о культе? Он разрушит всё, что команда писателей рассказала миру о твоём детстве».

Агент спрашивает: «Что тогда?»

Я не знаю.

«Тогда ты *никто*», — говорит он.

«Тогда ты ещё один знаменитый лжец», — говорит он.

«Весь мир тебя возненавидит», — говорит он.

Он кричит: «Ты знаешь, *сколько* ты будешь сидеть за организацию массового мошенничества? За искажение фактов? За недобросовестную рекламу? За клевету?»

Он подходит совсем близко и шепчет: «Тебе рассказать, что по сравнению с тюрьмой Содом и Гоморра выглядят как Миннеаполис и собор Святого Павла?»

Он скажет мне, что я знаю, говорит агент.

Он поднимает ДСС с пола и оборачивает сегодняшней газетой.

Он говорит, что у меня нет брата — он говорит, что я никогда не видел ДСС — я никогда не видел своего брата — я опечален смертью психолога — я тоскую по своей мёртвой семье, *всей-всей мёртвой* — я глубоко любил своего психолога — я вечно благодарен за её помощь и руководство — и каждую минуту молюсь, что моя семья не попадёт в Ад.

Он говорит, что я отказываюсь общаться с полицией потому, что они слишком ленивы и не хотят искать настоящего убийцу психолога.

Он говорит, что я просто хочу, чтобы все эти смерти поскорее закончились.

Он говорит, что я хочу просто жить своей жизнью.

Он говорит, что я ему доверяю и ценю руководство, которое получаю каждый день от моего замечательного агента.

Он говорит мне, что я ему очень благодарен.

Быстро, прежде чем горничная зайдёт убирать в комнате, говорит, что отправляет ДСС прямо в уничтожитель бумаг.

Он говорит: «А теперь поднимай жопу с кровати, ленивый мешок с дерьмом, и запомни, что я тебе сказал сейчас, потому что скоро ты это будешь рассказывать полиции».

17

s e v e n t e e n
с е м н а д ц а т ь

ИЗ КАБИНОК ТУАЛЕТА ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ МЕНЯ доносятся стоны и дыхание — секс или опорожнение кишечника — я не знаю.

Кабинка, в которой сижу я, у неё дырки в обеих перегородках, но я не могу в них посмотреть.

Я не знаю, пришла ли уже Изабилия — если Изабилия уже здесь и молчит, пока мы не останемся одни, я молюсь о своём большом чуде.

Рядом с дырой справа от меня написано: «Весь в печали я сидел, хотел посрать, а всё пердел».

Рядом с этим написано: «История моей жизни».

Рядом с дырой слева от меня написано: «Сунь сюда — подрочу».

Рядом с этим написано: «Поцелуй меня в жопу».

Рядом с этим написано: «С радостью».

Это в аэропорту Нового Орлеана, ближайший к стадиону «Superdome» аэропорт, где завтра состоится суперкубок, в перерыве которого я венчаюсь.

И время заканчивается.

Снаружи, в коридоре, — мой эскорт и моя новая невеста ждут меня больше двух часов, пока я сижу здесь так долго, что у меня скоро внутренности из задницы выпадут — брюки спущены ниже колен — бумажная подкладка на сиденье унитаза впитывает воду, чтобы намочить мне зад — с каждым вдохом я чувствую запах чьих-то дел.

Бачок за бачком спускают, но как только один человек уходит, появляется другой.

На стене выцарапано: «Жизнь и порнуха кончаются одинаково. Только жизнь *начинается* с оргазма».

Рядом с этим выцарапано: «Подходит к концу, это самое интересное».

Рядом с этим выцарапано: «Тантра, бля».

Рядом с этим выцарапано: «Говном воняет».

Последний бачок спускают — последний человек моет руки — последние шаги удаляются к двери.

В дыру слева я шепчу: Изобилия, ты здесь?

В дыру справа я шепчу: Изобилия, это ты?

Ничего, кроме моего страха, что сейчас зайдёт ещё кто-то, чтобы почитать газету и облегчиться замечательным опорожнением кишечника.

Из дыры справа доносится: «Мне не понравилось, что ты обозвал меня шлюхой по телевидению».

Я шепчу в ответ, извини, я только читал текст, который мне дали.

«Я *знаю* это».

Я *знаю*, что она знает это.

Красные губы в дырке говорят: «Я *знала*, что ты отречёшься от меня. Свобода выбора здесь ни при чём. Это как у Иисуса с Иудой. Ты просто моя пешка».

Спасибо, говорю я.

Шаги входят в мужской туалет — и кто бы это ни был, он занимает кабинку слева от меня.

В дырку справа я шепчу, мы не можем говорить сейчас, кто-то зашёл.

«Всё нормально», — говорит красный рот. — «Это старший брат».

Старший брат?

Рот говорит: «Твой брат, Адам Брэнсон».

В дырке слева от меня появляется ствол пистолета.

Голос, мужской голос, говорит: «Привет, младший братик».

Ствол пистолета показывается из дырки и вслепую шарит стволом вокруг, нацеливаясь на мои ноги — на мою грудь — на дверцу кабинки — на бачок унитаза.

Рядом со стволом пистолета написано: «Пососи это».

«Не бойся», — говорит Изибилия. — «Он не убьёт тебя, я это знаю».

«Я тебя не вижу», — говорит Адам, — «но у меня шесть пуль и одна из них тебя достанет».

«Никого ты не убьёшь», — говорит красный рот чёрному пистолету — они переговариваются над моими голыми белыми коленями. — «Он был у меня в доме прошлой ночью, приставил пистолет к голове, и только причёску испортил».

«Замолчи», — говорит пистолет.

Рот говорит: «У него даже патронов нет».

Пистолет говорит: «Заткнись!»

Рот говорит: «Я видела ещё один сон о тебе прошлой ночью. Я знаю, что они сделали с тобой, когда ты был ребёнком. Я знаю, то, что случилось с тобой, было ужасно. Я понимаю, почему ты боишься секса».

Я шепчу, ничего со мной не случилось.

Пистолет говорит: «Я пытался остановить это, от одной мысли о том, что церковные старейшины делали с вами, детьми, меня тошнит».

Я шепчу, не так уж это было и плохо.

«В моём сне», — говорит рот, — «ты плакал. Ты был просто маленьким мальчиком в первый раз, и просто не понимал, что с тобой происходит».

Я шепчу, я оставил это всё позади.

Я прославленная знаменитая религиозная знаменитость.

Пистолет говорит: «Нет, не оставил».

Да, оставил.

«Тогда почему ты всё ещё девственник?» — спрашивает рот.

Я венчаюсь завтра.

Рот говорит: «Но ты *не будешь* с ней заниматься сексом».

Я говорю, она очень милая и очаровательная девушка.

Рот говорит: «Но ты не будешь с ней заниматься сексом. Ты не завершишь брак».

Пистолет говорит рту: «Церковь делала это со всеми тружениками и послушницами, чтобы они никогда не хотели секса в мире вокруг».

Рот говорит пистолету: «Всё это просто садизм какой-то».

Кстати о браках, говорю я, мне нужно очень хорошее чудо.

«Тебе нужно больше», — говорит рот. — «Завтра утром, пока ты будешь венчаться, твой агент умрёт. Тебе нужны очень хорошее чудо и очень хороший адвокат».

Мысль про мёртвого агента не такая уж и плохая.

«Полиция», — говорит рот, — «будет подозревать тебя».

Но почему?

«Флакон твоего нового одеколона, аромат “Правда”», — говорит рот. — «Он задохнётся, понюхав его».

«Это нашатырь смешанный с хлоркой», — говорит пистолет.

Я спрашиваю, как психолог?

«Вот, почему полиция вспомнит о тебе», — говорит рот.

Но это *мой брат* убил мою психолога, говорю я.

«Признаю свою вину», — говорит пистолет. — «И я украл ДСС и папки с делами».

Рот говорит: «И он подстроил, что твой агент задохнётся».

«Расскажи ему самое интересное», — говорит рту пистолет.

«В моих снах», — говорит рот, — «полиция подозревает тебя в убийствах Правоверных, чьи самоубийства выглядели подстроеными».

Все Правоверные, которых убил Адам.

«Всех их», — говорит пистолет.

Рот говорит: «Полиция думает, что ты мог убить их всех, чтобы прославиться. В одну ночь ты из толстого уродливого работника по дому стал религиозным лидером, а завтра станешь самым успешным серийным убийцей в стране».

Пистолет говорит: «"Успешный" — это, наверное, не то слово».

Я говорю, не такой уж я был и толстый.

«Сколько ты вешишь?» — спрашивает пистолет. — «Только честно».

На стене написано: «Сегодня самый хуёвый день в твоей жизни».

Рот говорит: «Ты был толстый. Ты и сейчас толстый».

Я спрашиваю, так почему бы тебе меня просто не убить? Заряди пистолет и застрели меня.

«Он у меня и так заряженный», — говорит пистолет и ствол поворачивается — нацеливаясь на моё лицо — колени — ноги — рот Изобилии.

Рот говорит: «Ничего у тебя не заряжено».

«Нет, заряжено», — говорит пистолет.

«Ну так докажи», — говорит рот. — «Застрели его. Прямо сейчас застрели его. Стреляй».

Я говорю, *не стреляй* в меня.

Пистолет говорит: «А мне сейчас не хочется».

Рот говорит: «Врун».

«Я хотел застрелить его давным-давно», — говорит пистолет, — «но чем известнее он становится, тем лучше. Вот почему я убил психолога и уничтожил его историю болезни. Вот почему я подсунил дурацкий флакончик с парами хлора агенту».

Я только притворялся ненормальным извращенцем с психологом, говорю я.

На стене написано: «Сри или слезай с толчка».

«Не важно, кто убьёт агента», — говорит рот. — «Полиция будет на пятидесятиардовой линии, чтобы арестовать тебя, как только закончится съёмка».

«Но не волнуйся», — говорит пистолет. — «Мы тебя спасём».

Спасут меня?

«Просто сотвори им чудо», — говорит рот, — «и будет несколько минут такого хаоса, что ты сможешь выбраться со стадиона».

Я спрашиваю, хаоса?

Пистолет говорит: «Ищи нас в машине».

Рот говорит: «В красной машине».

Пистолет говорит: «Откуда ты знаешь? Мы её ещё не украли».

«Я знаю всё», — говорит рот. — «Мы украдём красную машину с автоматической коробкой передач, потому что на ручной я не умею ездить».

«Хорошо», — говорит пистолет. — «Красная машина».

«Хорошо», — говорит рот.

Я заинтригован до предела, говорю я, дайте мне чудо наконец-то.

И Изобилия даёт мне чудо.

Самое большое чудо в моей карьере.

И она права.

Это будет хаос.

Это будет просто полный пиздец.

16

s i x t e e n

ш е с т н а д ц а т ь

ВОДИННАДЦАТЬ УТРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ АГЕНТ ЕЩЁ жив.

Агент жив в одиннадцать десять и одиннадцать пятнадцать.

Агент жив в одиннадцать тридцать и одиннадцать сорок пять.

В одиннадцать пятьдесят координатор мероприятий везёт меня из отеля на стадион.

Когда все вокруг нас — координаторы — репортёры — менеджеры — я не могу спросить агента, у него ли флакон аромата «Правда» — когда он собирается его нюхать — я не могу сказать ему не нюхать ничего сегодня, потому что это яд — это брат, которого у меня нет и которого я никогда не видел — он залез в вещи агента и подстроил ловушку.

Каждый раз, когда я вижу агента — когда он исчезает в туалете — или я должен на минуту отвернуться — это может быть последним разом, когда я его вижу.

Не то, чтобы я так любил агента — я легко могу представить себя на его похоронах — что я надену — что скажу в прощальном слове.

Похихикаю.

Потом я могу представить, как мы с Изобилией танцуем аргентинское танго на его могиле.

Просто я не хочу, чтобы меня судили за массовые убийства.

Это то, что психолог назвала бы ситуацией «за и против».

Что бы я не сказал про одеколон, моё окружение повторит это полиции, если он задохнётся.

В четыре тридцать мы за кулисами на стадионе — со складными столами и ресторанной едой и взятой напрокат одеждой — смокинги и свадебные платья на вешалках — агент всё ещё жив и спрашивает, что за большое чудо я собираюсь сделать в перерыве между таймами.

Я не говорю.

«Но оно большое?», — хочет знать агент.

Большое.

Достаточно большое, чтобы каждый на этом стадионе захотел убить меня.

Агент смотрит на меня, поднимает одну бровь и хмурится.

У меня *такое* большое чудо, что потребуются все полицейские города, чтобы не дать толпе убить меня — но я не говорю этого агенту — я не говорю, что в этом весь смысл — полиция будет так занята спасением моей жизни, что не сможет арестовать меня за убийство — но этого я тоже агенту не говорю.

В пять часов агент всё ещё жив — меня одевают в белый смокинг с белой бабочкой — мировой судья подходит и говорит мне, что всё под контролем — всё что я делаю — это вдыхаю и выдыхаю.

Невеста входит в своём подвенечном платье, натирая смазкой безымянный палец, чтобы легко наделось кольцо, и говорит: «Меня зовут Лаура».

Это не та девушка, которая была в лимузине вчера.

«То была Триша», — говорит невеста — Триша заболела, так что Лаура — её дублёрша — всё нормально — я буду женат на Трише, хотя это и не она — агенту нужна Триша.

Лаура говорит: «По трансляции не будет видно».

На ней вуаль.

Люди едят поставленную пищу — около стальных дверей, которые открываются на боковые линии — люди от цветочника готовы вынести алтарь на футбольное поле — канделябры — беседки с белыми шёлковыми цветами — розы и пионы и белый душистый горошек и левкой — острые и липкие от лака для

волос, чтобы придать жёсткость — огромный шёлковый букет для невесты — это шёлковые гладиолусы и белые искусственного шёлка георгины и тюльпаны, за которыми тянутся ярды белой шёлковой жимолости.

Всё это выглядит красиво и реально, если смотреть изда-лека.

Свет на поле яркий, говорят гримёры, и делают мне огромный красный рот.

В шесть часов Суперкубок начинается, это американский футбол, это «Кардиналы» против «Кольтов».

Пять минут первой четверти, «Кольты» — шесть, «Кардиналы» — ноль, и агент всё ещё жив.

Около стальных дверей, которые открываются на стадион, мальчики при алтаре и подружки невесты, одетые как ангелы, флиртуют и курят сигареты.

«Кольты» на их сорокаярдовой линии — у них шесть оч-ков — координатор мероприятий говорит мне, как я проведу медовый месяц — в турне по семнадцати городам в поддержку книг — игр — статуэток для приборной панели — основывать собственную большую религию пока не предлагают.

Мировое турне разрабатывается сейчас, раз вопрос о моём сексе решён — план включает в себя визиты доброй воли в Европу — Японию — Китай — Австралию — Сингапур — Южную Африку — Аргентину — Виргинские острова и Новую Гвинею — потом я вернусь в Соединённые Штаты к сроку, чтобы увидеть рождение своего первого ребёнка.

Чтобы не пришлось догадываться, координатор говорит мне, что агент предпринял *определённые меры* к тому, чтобы моя жена родила первого ребёнка к концу девятимесячного турне.

Более длительные планы предусматривают, что моя жена родит шесть, может семь детей, модель Правовой семьи.

Координатор мероприятий говорит, что мне даже пальцем шевелить не придётся.

Насколько я понимаю, это безупречная задумка.

Свет на поле слишком яркий, говорят гримёры и красят мне щёки красным.

В конце первой четверти агент приходит, чтобы я подписал бумаги, договор о разделении прибыли, говорит мне агент.

Сторона известная как Труженик Брэнсон, именуемая в дальнейшем «Жертва», передаёт стороне, именуемой в дальнейшем «Агент» права получать и распределять деньги, получаемые Торгово-информационным синдикатом «Труженик Брэнсон», включая но не ограничиваясь продажами книг, радио- и телевидением, изобразительным искусством, выступлениями и косметикой, в частности, мужским одеколоном.

«Подпиши здесь», — говорит агент.

И здесь.

Здесь.

И здесь.

Кто-то прикрепляет белую розу мне на лацкан смокинга, кто-то становится на колени, чтобы почистить мне туфли.

Теперь агент обладает авторскими правами на мой образ и моё имя.

В конце первой четверти — ничья, по семь очков, и агент всё ещё жив.

Мой личный тренер вкалывает мне десять кубиков адреналина, чтобы в глазах появилась искра.

Старший координатор мероприятий говорит, что мне всего лишь нужно пройти от пятидесятиардовой линии к свадебной церемонии в центре стадиона — невеста будет идти с другой стороны — мы будем стоять на помосте из деревянных ящиков с пятью тысячами белых голубей спрятанными в них — звук для церемонии уже был записан в студии, так что его и будут слышать зрители — мне не нужно говорить ни слова до моего предсказания.

Когда я наступлю ногой на скрытый переключатель, это освободит голубей.

Ходить, говорить, голуби — это просто.

Костюмер говорит, что придётся использовать корсет, чтобы добиться нужного силуэта, и говорит мне раздеваться да поскорей — раздеваться перед всеми — ангелами — окружением — людьми из ресторана и от цветочника — агентом — сейчас — всё кроме трусов и носков — сейчас.

Костюмер подходит с пыточным устройством корсета из проволоки и резины, чтобы надеть его на меня, и сейчас мой последний шанс отлить на ближайшие три часа.

«Не нужно было бы надевать этот ужас», — говорит мне агент, — «если бы ты и дальше сбрасывал все».

Четыре минуты второй четверти, и никто не может найти обручальное кольцо.

Агент думает, что виноват координатор мероприятий думает, что виноват костюмер думает, что виноват менеджер по аксессуарам думает, что виноват ювелир, который должен был пожертвовать кольцо в обмен на рекламное время на дирижабле, летающем вокруг стадиона — снаружи летает по небу дирижабль с именем ювелира — внутри агент угрожает вчинить иск за нарушение контракта — пытается вызвать дирижабль по радио.

Координатор мероприятий говорит мне: «Притворись, что кольцо есть» — они будут снимать камерой меня и невесту до плеч, нужно просто *притвориться*, что я надеваю кольцо на палец Триши.

Невеста говорит, что она не Триша.

«И помни», — говорит координатор, — «только двигай губами, весь звук записан».

Девять минут второй четверти, и агент всё ещё жив и кричит в телефон.

«Сбейте его», — кричит он. — «Выдерните затычку. Дайте мне пистолет, *я сам* это сделаю», — кричит он. — «Просто снимите ёбанный дирижабль оттуда!»

«Невозможно», — говорит координатор мероприятий.

Когда свадебная церемония выйдет из стадиона, экипаж дирижабля сбросит пятнадцать тысяч фунтов риса на стоянку для автомашин.

«Пройдёмте со мной», — говорит главный координатор по графикам, пришло время занимать места.

«Кольты» и «Кардиналы» уходят с поля, счёт двадцать — семнадцать.

Толпа кричит и требует футбола.

Ангелы и декораторы бегут с алтарём и шёлковыми цветами, канделябры горят и платформа полна голубей.

Корсет выдавливает мои внутренности мне в глотку.

Время идёт, приближается начало второго тайма, а агент всё ещё жив.

Я могу делать только маленькие полувздохи.

Личный тренер подходит ко мне и говорит: «Вот, это заставит твои щёки порозоветь» — он подносит маленькую бутылочку к моей ноздре и говорит сильно вдохнуть.

Толпа стучит ногами, время идёт, счёт почти равный, и я вдыхаю.

«Теперь другой ноздрей», — говорит тренер и я вдыхаю.

И всё исчезает — кроме шума крови текущей по венам в моих ушах — и стука сердца об сжимающий корсет — я ничего не чувствую.

Не чувствуй зла. Не видь зла. Не слышь зла. Не бойся зла.

На расстоянии — координатор зовёт меня на искусственную траву — он показывает на линию, нарисованную на поле — потом показывает на группу людей стоящих у свадебного помоста с белыми цветами в центре поля.

Шум в ушах становится тише — и я слышу музыку — я иду мимо координатора — выхожу на стадион, где кричат на своих местах тысячи людей — музыка доносится из ниоткуда — дирижабль кружит надо мной и мигает надписью: «Поздравления от чудесных продуктов торговой марки "Philip Morris"».

Невеста — Лаура — Триша — кто угодно — приближается с другой стороны.

Не открывая рта, мировой судья говорит: «Берёшь ли ты, Труженик Брэнсон, Тришу Коннерс в жёны, чтобы любить её и защищать, и плодиться и размножаться так часто, как сможете, до тех пор, пока смерть не разлучит вас?»

Можно слышать эхо сотен громкоговорителей.

Не открывая рта, я говорю: «Да».

Не открывая рта, мировой судья говорит: «Берёшь ли ты, Триша Коннерс, Труженика Брэнсона до тех пор, пока смерть не разлучит вас?»

И Лаура двигает губами: «Да».

Телевизионные камеры приближают изображение, когда мы имитируем обмен кольцами — мы имитируем поцелуй — вуаль остаётся на месте — Лаура остаётся Тришей — на расстоянии всё выглядит естественно.

За линией вбрасывания полиция появляется на поле — агент, наверное, мёртв — одеколон — пары хлора.

Полиция на десятиардовой линии.

Я прошу у мирового судьи микрофон, чтобы сделать своё большое предсказание.

Моё чудо.

Полиция на двадцатиярдовой линии.

Я беру микрофон, но он не работает.

Полиция на двадцатипятиардовой линии.

Я говорю: проверка, проверка. Один, два, раз.

Проверка. Один, два, раз.

Полиция на тридцатиярдовой линии, с наручниками, готовые защёлкнуть их на мне.

Микрофон оживает и мой голос звучит из динамиков.

Полиция на сорокаярдовой линии.

«У вас есть право хранить молчание. Если вы отказываетесь от этого права, всё что вы скажете, может быть и будет использовано против вас...»

И я отказываюсь от своего права.

Я делаю предсказание.

Полиция на сорокапятиардовой линии.

Мой голос звучит по всему стадиону, и я говорю: «Счёт сегодняшней игры будет: "Кольты" — двадцать семь, "Кардиналы" — двадцать четыре. "Кольты" выиграют сегодняшний суперкубок с разницей в три очка».

И это полный пиздец.

ЧТО ХУЖЕ ВСЕГО — ДВИГАТЕЛЬ НОМЕР ДВА ТОЛЬКО ЧТО
выгорел — я здесь один — рейс двадцать тридцать девять — и
осталось только два двигателя.

15

f i f t e e n

п я т н а д ц а т ь

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО, НУЖНО ВЗЯТЬ ОДИН лист золотистой фольги и обернуть им лист белой бумаги — нужно всунуть купон между сложенными листами — держать рядом со сложенными листами лист почтовых марок — обернуть лист с письмом вокруг всего этого, затем засунуть в конверт.

Приклеиваете соответствующий адрес на конверт, и вы заработали три цента.

Сделайте это тридцать три раза — вы заработали почти доллар.

Где мы сегодня ночью — это идея Адама Брэнсона.

Письмо, которое я складываю, оно начинается со слов: «Не приносит ли вода опасных паразитов в дом Уилсонов?»

Там где мы, наверно, безопасно.

Фольга вокруг белой — внутрь купон — лист марок — письмо — всё в конверт — я на три цента ближе к спасению.

«Не приносит ли вода опасных паразитов в дом Кэмеронов?»

Нас трое сидит вокруг обеденного стола, Адам и Изабилия и я, наполняем конверты — в десять часов хозяйка запирает входную дверь и останавливается по дороге в кухню, чтобы спросить, стало ли нашей дочке лучше, помогли ли её врачи, выживет ли она?

Изабилия, всё ещё с рисом в волосах, говорит: «Опасность ещё не миновала, пока ещё нет».

Конечно, у нас нет дочери.

То, что у нас есть дочь — это была идея Адама Брэнсона.

Вокруг нас три или четыре семей — дети и родители — говорят о раке и химиотерапии — ожогах и пересадке кожи — стафилококковых инфекциях.

Хозяйка спрашивает, как зовут нашу девочку.

Все втроём, мы говорим три разных имени.

Изобилия говорит: «Аманда».

Адам говорит: «Пэтти».

Я говорю: «Лаура».

Все три имени звучат одновременно.

Наша дочь.

Хозяйка смотрит на меня и обгоревшие остатки моего белого смокинга и спрашивает, почему наша дочь в больнице.

Все вместе мы говорим три разные болезни.

Изобилия говорит: «Сколиоз».

Адам говорит: «Полиомиелит».

Я говорю: «Туберкулёз».

Хозяйка смотрит, как мы складываем белое в жёлтое — купон — марки — письмо — её глаза возвращаются к наручникам на моей руке.

«Не приносит ли вода опасных паразитов в дом Диксонов?»

Это Адам привёл нас сюда — только на одну ночь, сказал он — здесь безопасно — теперь, когда я массовый убийца, Адам знает, как мы начнём ехать на север утром — на север, пока не приедем в Канаду.

Но сегодня нам нужно место, чтобы спрятаться.

Нам нужна еда.

Нам нужно немного денег.

Так что он привёл нас *сюда*.

Это после стадиона — после толпы, которая прорвала полицейский заслон, — это сразу после моего изображаемого вен-

чания — когда агент оказался мёртв и полиция пыталась спасти мне жизнь, чтобы казнить за убийство.

Весь народ на стадионе «Superdome» сорвался с мест на поле, когда я предсказал, что «Кольты» выиграют — один наручник уже защёлкнулся на моей руке, но полиция не могла сравниться с бегущей пьяной толпой, которая катилась на нас с боковых линий.

Оркестр где-то играл национальный гимн.

Со всех сторон люди прыгали на поле с трибун — люди бежали со сжатыми кулаками через поле к нам — «Аризонские Кардиналы» в форме — «Индианаполиссские Кольты» на своей скамейке, сталкивающиеся задницами[†] и дающие друг другу «пять».

Когда полиция добирается до края свадебного помоста, я нажимаю на выключатель — и пять тысяч белых голубей взлетают вокруг меня плотной стеной.

Голуби задерживают полицию достаточно, чтобы футбольная толпа достигла центра поля — полиция борется с толпой — я хватаю букет невесты.

Сидя здесь и наполняя конверты, я хочу рассказать всем, как я совершил свой великий побег — как летели над головой гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы — как рёв толпы отдавался эхом под куполом стадиона — как я выхватил букет цветов из искусственного шёлка у невесты, по щекам у которой текли слёзы — и как я прикоснулся облитым лаком для волос букетом к горящей свече — и как у меня появился факел, чтобы отгонять нападающих.

Сжимая факел из гладиолусов и размахивая горячей проволокой искусственной жимолости перед собой, я спрыгнул со свадебной платформы и пробивался по футбольному полю — пятидесятиардовая линия — сорокаардовая линия — тридцатиардовая — я в белом смокинге уклонялся и четвертьзащищал себе путь — ускорял бег и центральнонападал — двадцатиардовая линия — и чтобы меня не полузащитили, я размахивал горящими георгинами перед собой.

Десятиардовая линия — десять тысяч полузащитников пытаются остановить меня — одни пьяные — другие профессиона-

[†] традиционный жест радости американских футболистов

лы — но ни один из них не сидит на таких качественных стероидах, как я.

Руки вцепляются в мои белые фалды, мужчины ныряют мне под ноги.

Это стероиды спасли мне жизнь.

Гол!!!

Я пробегаю через линию ворот, направляясь к стальным дверям, которые выведут меня с поля.

Мой факел сгорел до нескольких шёлковых лилий, когда я бросаю его через плечо — я вбегаю в двойные стальные двери и задвигаю на них засов.

С суперкубковой толпой, ломящейся в закрытые двери, я здесь в безопасности на пару минут — один с ресторанной едой и гримёршей — мёртвое тело агента под белой простынёй на столике рядом с буфетом — на буфете сэндвичи с индюшкой и вода в бутылках — свежие фрукты — салат с макаронами — свадебный торт.

Гримёрша ест сэндвич — она кивает головой в сторону мёртвого агента и говорит, хорошая работа, она его тоже ненавидела.

На её руке агентов тяжёлый золотой «ролекс».

Гримёрша говорит: «Хочешь сэндвич?»

Я спрашиваю, есть только индюшка или другие тоже:

Гримёрша даёт мне бутылку минеральной воды и говорит, что мой смокинг сзади горит.

Я спрашиваю, где выход?

Вон та дверь, говорит гримёрша.

Стальные двери сзади меня дрожат в раме.

Иди по длинному холлу, говорит гримёрша, поверни в конце направо, дверь с надписью «выход».

Я говорю, спасибо.

Она говорит, что есть сэндвич с мясом, если я хочу.

Сэндвич в моей руке — я иду в дверь, как она сказала — иду по холлу — выхожу через выход.

Снаружи на стоянке — красная машина, красная машина с автоматической коробкой передач — Изобилия за рулём и Адам сидит около неё.

Я сажусь на заднее сиденье и закрываю дверь — я говорю Изобилии на переднем сиденье поднять стекло в окне — Изобилия возится с ручками радио.

За мной толпа валит из выходов, бежит окружить нас.

Их лица достаточно близко ко мне, чтобы плюнуть.

И тут с неба приходит самое большое чудо.

Начинается дождь.

Белый дождь.

Манна небесная, я клянусь.

Дождь идёт такой плотный и тяжёлый, что толпа падает — скользит и падает — падает и ползёт — белые кусочки дождя стучат в окна машины — падают на ковёр — залетают в волосы.

Адам с удивлением смотрит на чудо белого дождя, которое помогает нам сбежать.

Адам говорит: «Это чудо».

«Нет», — говорит Изобилия и нажимает на газ, — «это рис».

Задние колёса буксуют — нас заносит — и затем оставляют чёрные следы нашего побега.

Дирижабль кружит над стадионом с надписями «Поздравляем» и «Счастливого медового месяца».

«Мне не нравится, что они это делают», — говорит Изобилия. — «Этот рис убивает птиц».

Я говорю ей, что этот рис, который убивает птиц, спас нам жизни.

Мы были на улице — потом были на шоссе.

Адам поворачивается ко мне с переднего сиденья и спрашивает: «Ты собираешься съесть *весь* этот сэндвич?»

Я говорю, это с мясом.

Нам нужно ехать на север, говорит Адам — он знает, на чём — но это не уедет из Нового Орлеана до следующего утра

— он почти десять лет так делал, ездил туда-сюда по стране без денег.

Убивая людей, говорю я.

«Помогая им предстать перед Богом», — говорит он.

Изобилия говорит: «Закрой рот».

Нам нужны деньги, говорит нам Адам, нам нужно поспать — еда — и он знает, где это можно получить — он знает место, где у людей проблемы побольше, чем у нас.

Нам нужно только немного приврать.

«Теперь», — говорит нам Адам, — «у вас двоих есть ребёнок».

У нас нет.

«Ваш ребёнок смертельно болен», — говорит Адам.

Нет, не болен.

«Вы в Новом Орлеане, чтобы ваш ребёнок мог попасть в больницу», — говорит Адам. — «Это всё, что вам нужно сказать».

Адам говорит, что устроит остальное, и говорит Изобилии: «Поворачивай сюда».

Он говорит: «Теперь поворачивай сюда».

Он говорит: «Ещё два квартала и поверни налево».

Там, куда он нас везёт, мы можем переночевать бесплатно — мы можем получить пищу, пожертвованную нам — мы можем выполнить кое-какую работу — скалывать документы или наполнять конверты, чтобы заработать немного денег — мы можем помыться в душе — посмотреть на себя по телевизору, как мы совершаем побег в вечерних новостях.

Адам говорит мне, что я слишком ужасно выгляжу, чтобы меня опознали как сбежавшего массового убийцу, который испортил суперкубок.

Там, куда мы едем, говорит он, людей заботят другие проблемы.

Изобилия говорит: «Например как “сколько людей нужно убить, чтобы из серийного убийцы стать массовым?”»

Адам говорит ей: «Сиди тихо в машине, я пойду и всё устрою. Главное помните, у вас ребёнок очень больной».

Потом он говорит: «Ждите здесь».

Изобилия смотрит на дом, потом на Адама и говорит: «Слушай, это ты очень больной».

Адам говорит: «Нет, я — бедный крёстный ребёнка».

На вывеске над дверью написано: «Благотворительный центр Рональда МакДональда».

14

f o u r t e e n

ч е т ы р н а д ц а т ь

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ЖИВЁТЕ В ДОМЕ, ТОЛЬКО ДОМ каждый день в другом городе.

У нас было три пути из Орлеана, о которых знал Адам.

Он привёл меня и Изобилию на стоянку грузовиков на краю города и сказал выбирать.

За аэропортами следили — за автобусными и железнодорожными вокзалами тоже — мы не могли все трое ехать авто-
стопом — а Изобилия отказалась вести машину до Канады.

«Я совершенно точно не люблю водить», — сказала Изобилия, — «Кроме того, способ твоего брата путешествовать намного веселее».

На следующий день после центра Рональда МакДональда — мы втроем стоим на акрах гравия парковки снаружи придорожного кафе, когда Адам достаёт нож для линолеума из заднего кармана и отщёлкивает лезвие.

«Ну, который?» — спрашивает он.

Ничто отсюда не идёт прямо на север — Адам был внутри и говорил со всеми водителями — нам нужно выбрать из того, что есть, говорит Адам и показывает.

Есть поместье, едущее на запад по десятому шоссе в Хьюстон — есть колониальный особняк по шоссе пятьдесят пять в Джексон — и целый миниатюрный замок, едущий на северо-восток в Боссьер-Сити — по шоссе сорок десять — с остановками в Александрии и Пайнвилле — потом на запад по шоссе двадцать в Даллас.

Вокруг нас на гравии припаркованы сборные домá — изготовленные домá — домá на колёсах — они разделены на две или три части и прицеплены к тягачам — открытая часть каждой секции заклеена полупрозрачным пластиком — внутри неясные тени диванов — кроватей — скрученных в рулоны ковров — бытовой техники — столовых гарнитуров — мягких кресел.

Пока Адам говорил с водителями, узнавал, кто куда направляется, Изобилия в туалете стоянки красила мои светлые волосы в чёрный и смывала имитирующую загар косметику с моего лица и рук.

Мы наполнили достаточно конвертов, чтобы купить мне в комиссионке одежду и достать бумажный пакет жареного цыплёнка с бумажными салфетками и шинкованной капустой.

Мы втроем стоим на стоянке, Адам крутит нож и говорит: «Выбирайте. Водители, которые возят эти чудесные домá, не будут ужинать всю ночь».

Большинство дальнобойщиков ездит по ночам, говорит нам Адам — когда меньше движение — прохладнее — а жарким загруженным днём водители съезжают с дороги и спят в спальных отсеках позади каждого грузовика.

Изобилия спрашивает, «Какáя разница, что выбирать?»

«Разница», — говорит Адам, — «это удобство».

Так Адам ездил вдоль и поперёк последние десять лет.

В колониальном особняке есть встроенные шкафы и уголок для завтрака.

В поместье — официальная столовая и встроенный камин в гостиной.

В замке есть джакузи в очаровательной ванной — в ванной есть два умывальника и зеркальная стена — в гостиной и хозяйской спальне есть окна в потолке — в обеденном углу встроенный шкаф для фарфора с дверцами свинцового стекла.

Это смотря куда ты попадёшь — это ведь только части домов — разбитые домá.

Неполноценные домá.

Половина, которая достанется, может быть одни спальни — или только кухня и гостиная без спален — могут быть три ванные и всё — или ни одной ванной вообще.

Света нет, воды нет.

Как бы роскошно всё ни было, чего-то всё равно не хватает.

Как бы аккуратно ты не выбирал, ты никогда не будешь полностью удовлетворён.

Мы выбрали замок, и Адам разрезает ножом снизу пластик, закрывающий открытую сторону — Адам прорезает около двух футов, столько, чтобы внутрь поместились голова и плечи.

Стоячий воздух внутри дома горячий и сухой.

Адам засовывается внутрь до поясицы, его зад и ноги всё ещё с нами.

Адам говорит: «Этот с васильковым интерьером».

Его голос доносится сквозь стену полупрозрачного пластика: «У нас тут роскошная мебель. Модульный гарнитур для гостиных. Встроенная микроволновка в кухне. Плексигласовая люстра в столовой».

Адам полностью залазит внутрь, потом его светловолосая голова выглядывает из разреза в пластике и ухмыляется нам.

«Калифорнийские огромные кровати, низкий европейский комод, окна с вертикальными жалюзи», — говорит он. — «Вы сделали отличный выбор своего первого дома».

Сначала Изобилия, потом я пролазим через пластик.

Как внутренности дома, очертания мебели и цвета, выглядят размытыми и неясными снаружи — так и теперь мир вокруг нас, настоящий мир, выглядит нерезким и нереальным через пластик — неоновые огни на стоянке еле видны — тусклые и смазанные через пластик — шум от дороги мягкий и приглушённый.

Адам становится на колени с рулоном прозрачного скотча и заклеивает разрез изнутри.

«Он нам больше не понадобится», — говорит он. — «Когда мы доедем до места, мы выйдем через парадный или чёрный вход, как нормальные люди».

Ковёр от стены до стены свёрнут в одной стороне комнаты, ожидая пока весь дом не будет собран — мебель и матрасы

стоят вокруг, закрытые от пыли тонкой пластиковой плёнкой — шкафы в кухне намертво заклеены скотчем.

Изобилия щёлкает выключателем люстры в столовой — ничего не происходит.

«И не пользуйтесь туалетом», — говорит Адам, — «а то мы так и будем с этим всем жить».

Неоновые огни со стоянки и фонари с шоссе мерцают через французские двери столовой, пока мы сидим вокруг стола с кленовым шпоном и едим жареного цыплёнка.

В нашей части разбитого дома одна спальня, гостиная, кухня, столовая и полванной.

Если мы доедем до самого Далласа, говорит нам Адам, мы можем перебраться в дом едущий по шоссе тридцать пять в Оклахому — потом мы можем найти дом по шоссе тридцать пять в Канзас — потом на север по шоссе сто тридцать пять — на запад по шоссе семьдесят в Денвер — в Колорадо мы найдём дом, едущий на северо-восток по шоссе семьдесят шесть — пока не доберёмся до шоссе восемьдесят в Небраску.

Небраска?

Адам смотрит на меня и говорит: «Да, наши старые добрые зёмли, твои и мои», — говорит он с полным ртом пережёванного жареного цыплёнка.

Почему Небраска?

«Чтобы добраться в Канаду», — говорит Адам, который смотрит на Изобилию, которая смотрит на свою порцию. — «Мы поедем по шоссе восемьдесят до шоссе 29 через штат Айова, потом просто поедем на север по шоссе двадцать девять через Южную Дакоту и Северную Дакоту, по дороге в Канаду».

«Прямиком в Канаду», — говорит Изобилия и улыбается мне, это выглядит странно, потому что Изобилия никогда не улыбается†.

Когда мы говорим «спокойной ночи» — Изобилия забирает матрас в свою спальню — Адам растягивается во весь рост на

† Маршрут, предложенный Адамом, является одним из самых странных и сложных способов достижения Канады, придуманных человечеством. На самом деле, именно в Канаду Адам собирается попасть меньше всего.

голубом бархате модульного гарнитура — в голубом бархате он похож на мёртвого в гробу.

Довольно долго я лежал без сна на другой части гарнитура и удивлялся тем жизням, которые оставил позади — брат Изобилии — Тревор — психолог — агент — моя мёртвая семья — почти вся мёртвая.

Адам храпит, и рядом мотор грузовика заводится.

Я думаю о Канаде — может ли что-то решить побег — лёжа в васильковой темноте, я думаю — не будет ли побег ещё одним исправлением исправления исправления исправления проблемы, про которую я уже забыл.

Весь дом дёргается — люстра раскачивается — листья шёлковых папоротников в плетёных горшках дрожат — жалюзи на окнах покачиваются.

Тихо.

За пластиком мир начинает двигаться — скользит — быстрее — быстрее — пока не стирается.

Пока я не засыпаю.

13

t h i r t e e n

т р и н а д ц а т ь

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ В ДОРОГЕ МОИ ЗУБЫ СТАЛИ ТУСКЛЫМИ и жёлтыми — мои мышцы потеряли тонус — я не могу жить брюнетом — мне нужно чуть-чуть — минута — тридцать секунд в лучах прожекторов.

Как бы я ни старался это скрыть, я начинаю по чуть-чуть разрушаться.

Мы в Далласе, штат Техас — размышляя над половиной виллы с имитацией черепицы на коньке крыши и биде в хозяйской ванной — которой, правда, нет — но есть комната для стирки с готовыми подсоединениями для стиральной машины и сушилки для белья — конечно же, нет ни воды — ни электричества — ни телефона — есть техника в кухне цвета миндаля — нет камина — но в столовой есть шторы от потолка до пола.

Это после того, как мы видели больше домов, чем я могу запомнить — домов с газовыми каминами — домов с французской провинциальной мебелью — огромными стеклянными кофейными столиками.

Это когда закат окрашивал небо Техаса в красный и золотой — на стоянке грузовиков на границе округа Даллас — я хочу поехать в доме, где для каждого из нас будет по спальне, но без кухни — Адам хочет дом, где только две спальни, кухня и нет ванной.

Времени почти нет, солнце почти село и водители скоро отправятся в рейс на всю ночь.

Моя кожа холодная и покрыта потом — у меня болит всё, даже светлые корни моих волос — прямо на гравии я начинаю

делать отжимания посреди стоянки — переворачиваюсь на спину и качаю пресс с интенсивностью конвульсий.

Подкожный жир уже нарастает — мои мышцы живота исчезают — мои грудные мышцы уменьшаются — мне нужен грим — мне нужно полежать в аппарате для загара.

Только пять минут, умоляю я Адама и Изобилии — прежде чем снова в дорогу — только десять минуток в аппарате для загара.

«Не выйдет, младший братик», — говорит Адам. — «ФБР будет следить за каждым спортзалом и каждым салоном для загара и магазином здоровой пищи на среднем Западе».

Через два дня я был болен от ужасной прожаренной еды, которую подают в придорожных кафе — мне нужен сельдерей — мне нужны бобы — овсяный хлеб с отрубями — коричневый рис — и мочегонные.

«А я тебе что говорила?» — спрашивает Изобилия, смотря на Адама. — «Начинается. Надо его где-то запереть. У него начинается синдром отсутствия внимания».

Они вдвоём запикивают меня во французский особняк — как только водитель цепляет его к грузовику, они заталкивают меня в заднюю спальню с голыми матрасами и огромным средиземноморским туалетным столиком с большим зеркалом — я слышу как они складывают средиземноморскую мебель — диваны — столы — лампы в форме винных бутылок — барные стулья — в баррикаду у двери спальни.

Техас движется всё быстрее за окнами спальни — в сумерках мимо окна проносится знак «Оклахома-Сити 250 миль» — вся комната трясётся — стены обклеены обоями с маленькими жёлтыми цветочками — они трясутся так сильно, что меня начинает укачивать.

Куда бы я ни пошёл в спальне, я всё равно вижу себя в зеркале — моя кожа становится обычной белой без ультрафиолета, который мне так нужен — и, может быть, это только мне кажется, но одна из коронок шатается — я стараюсь не паниковать.

Ярываю рубашку и изучаю себя — я ищу повреждения — я поворачиваюсь и втягиваю живот — мне бы не помешал сейчас шприц с дюратестоном, анаваром или дека-дюраболином — мой новый цвет волос делает меня размытым — мне

не сделали последнюю операцию на веках, и уже появляются мешки под глазами — корни волос ослабли — я поворачиваюсь и в зеркале ищу, не начинают ли расти у меня волосы на спине.

Мимо окна проносится знак: «Рыхлое покрытие».

Остатки моего загара прячутся в уголках моих глаз, в складках у рта и на затылке.

Я пытаюсь поспать, я разрываю материю матраса ногтями.

Мимо окна проносится знак: «Медленный транспорт едет справа».

Стук в дверь.

«У меня есть чизбургер, если хочешь», — говорит Изобилия через дверь и баррикаду из мебели.

Я не хочу сальный чёртов жирный чёртов чизбургер, кричу я в ответ.

«Тебе нужно есть сахар, жир и соль, пока не придёшь в норму», — говорит Изобилия. — «Это для твоей же пользы».

Мне нужно обработать кожу на всём теле воском, кричу я, мне нужен гель для волос.

Я бросаюсь на дверь.

Мне нужно два часа в хорошей качалке.

Мне нужно подняться на триста этажей на тренажёре.

Изобилия говорит: «Тебе нужна *помощь*. Всё будет хорошо».

Она убивает меня.

«Мы спасаем тебе жизнь».

Я удерживаю воду — у меня плечи становятся уже — мне надо убрать мешки под глазами — у меня зубы желтеют — мне нужно прийти в форму — мне нужен мой диетолог — позвоните моему стоматологу — мои икры пропадают — я дам вам всё, что хотите — я дам вам *денег*.

Изобилия говорит: «У тебя *нет денег*».

Я знаменит.

«Тебя разыскивают за массовые убийства».

Они с Адамом должны мне достать мочегонных.

«На следующей остановке», — говорит Изабилия, — «я тебе принесу двойной крепкий чёрный кофе».

Этого мало.

«Это больше, чем ты получишь в тюрьме».

Э, давайте подумаем, говорю я — в тюрьме у меня будут спортивные снаряды — я могу бывать на солнце — у них есть до́ски для качания пресса — я, может быть, смогу купить вистрол на чёрном рынке — я говорю — выпустите меня — откройте дверь!

«Нет, пока ты не придёшь в чувство».

Я хочу в тюрьму!

«В тюрьме есть электрический стул».

Я рискну.

«Они могут убить тебя».

Хорошо, мне просто нужно побыть в центре внимания, ну хоть ещё разок.

«Да, в тюрьме ты будешь в центре внимания».

Мне нужен увлажняющий крем — мне нужно, чтобы меня фотографировали — я не обычный человек — чтобы выжить, я должен давать интервью — я должен быть в естественной среде обитания, на телевидении — я должен быть на свободе — подписывать книги.

«Я оставляю тебя ненадолго», — говорит Изабилия через дверь. — «Тебе нужно отдохнуть».

Ненавижу быть смертным.

«Это как “Моя прекрасная леди” или “Пигмалион”[†], только наоборот».

[†] «Пигмалион», пьеса Бернарда Шоу, и фильм, поставленный по этой пьесе (под названием «Моя прекрасная леди»).

12

t w e l v e

д в е н а д ц а т ь

КОГДА Я ПРИХОЖУ В СЕБЯ, Я В ГОРЯЧКЕ И ИЗОБИЛИЯ сидит на краю кровати, втирая дешёвый жирный увлажняющий крем в мои грудь и руки.

«С возвращением», — говорит она. — «Мы уже думали, что ты не выкарабкаешься».

Где я?

Изобилия смотрит вокруг.

«Ты в кленовом шато с таким себе набором мебели», — говорит она. — «Линолеум без стыков на кухне, виниловый пол в двух ваннах. Легкоочищаемые виниловые стенные панели вместо камня, декорирован в зелёно-голубом морском стиле».

Нет, шепчу я, *где в мире?*

Изобилия говорит: «Я знаю, что ты *это* имеешь в виду».

Мимо окна проносится знак: «Впереди объезд».

Комната вокруг нас не та, что я помню — вверх обоев под потолком полоска-кант с танцующими слониками — я в кровати с балдахином — белые кружевные занавеси свисают с него, стянутые розовыми ситцевыми лентами, — окна закрывают белые ставни с жалюзи — мы с Изобилией отражаемся в зеркале на стене в форме сердца.

Я спрашиваю, что с французским особняком?

«Это было два дома назад», — говорит Изобилия. — «Мы в Канзасе сейчас, в половине кленового шато на четыре спальни. Это самый лучший из сборных домов».

Тут так хорошо?

«Адам говорит, что это лучший», — говорит она, укрывая меня. — «Он поставляется с подобранным по цвету постельным бельём, в столовой тарелки подобранные к сиреневому бархату дивана и кресел в гостиной. Даже подобранные по цвету сиреневые полотенца в ванной. Тут, правда, нет кухни, по крайней мере, в нашей половине, но я уверена, что где бы она ни была, кухня сиреневая».

Я спрашиваю, где Адам?

«Спит».

Он разве не переживает за меня?

«Я сказала ему, что всё обойдётся», — говорит Изобилия. — «На самом деле, он очень счастлив».

Шторы навеса над кроватью танцуют и качаются в такт движению дома.

Мимо окна проносится знак: «Осторожно».

Я ненавижу, что Изобилия знает *всё*.

Изобилия говорит: «Я *знаю*, что ты ненавидишь, что я знаю *всё*».

Я спрашиваю, знает ли она, что *это* я убил её брата.

Вот так легко правда выходит наружу. Моя исповедь при смерти.

«Я знаю, что ты *говорил с ним* в ночь, когда он умер», — говорит она. — «Но Тревор *сам* убил себя».

И я *не был* его гомосексуальным любовником.

«Я знаю это тоже».

И я *был* тем голосом в телефоне поддержки, с которым она грязно говорила.

«Я знаю».

Она растирает увлажняющий крем по ладоням и втирает его в мои плечи.

«Тревор позвонил по поддельному телефону поддержки потому, что искал неожиданностей. Я связалась с тобой по той же причине».

С закрытыми глазами, я спрашиваю, знает ли она, как всё выйдет.

«В ближайшем будущем или в отдалённом?» — спрашивает она.

В обоих.

«В отдалённом будущем», — говорит она, — «мы все умрём. Потом наши тела сгниют. Всё как обычно. В ближайшем будущем мы будем жить долго и счастливо».

Правда?

«Правда», — говорит она. — «Так что не дёргайся».

Я смотрю в зеркале в форме сердца, как я старею.

Мимо окна проносится знак: «Водите осторожно».

Мимо окна проносится знак: «Скорость контролируется радаром».

Мимо окна проносится знак: «Включите фары для безопасности».

Изобилия: «Ты можешь расслабиться и просто дать всему произойти?»

Я спрашиваю, она имеет в виду как несчастья, как боль, как страдание? Могу я просто дать *всему этому* произойти?

«И радость», — говорит она, — «и безмятежность, и счастье, и упоение» — она называет все крылья Колумбийского мемориального мавзолея — «Тебе не обязательно контролировать всё», — говорит она. — «Ты не можешь контролировать всё».

Но ты можешь *приготовиться* к несчастью.

Мимо окна проносится знак: «Пристегните ремни».

«Если всё время переживать из-за несчастья, то его ты и получишь», — говорит Изобилия.

Мимо окна проносится знак: «Остерегайтесь обвалов».

Мимо окна проносится знак: «Впереди опасные повороты».

Мимо окна проносится знак: «Скользко при дожде».

За окном Небраска приближается с каждой минутой.

Весь мир — несчастье, которое вот-вот случится.

«Я хочу, чтобы ты знал, я не всегда буду рядом», — говорит Изобилия, — «но я всегда найду тебя».

Мимо окнá проносится знак: «Оклахома 25 миль».

«Что бы ни случилось», — говорит Изобилия, — «что бы ты или твой брат не сделали, это правильно».

Она говорит: «Ты должен *верить* мне».

Я спрашиваю, а можно мне немного помады? — для губ — они потрескались.

Мимо проносится знак «Уступите дорогу».

«Ладно», — говорит она. — «Я прощаю тебе твои грехи. Если это тебе поможет расслабиться, я думаю, я могу достать тебе немного помады».

11

e l e v e n

о д и н н а д ц а т ь

КОНЕЧНО ЖЕ, МЫ ПОТЕРЯЛИ ИЗОБИЛИЮ НА СТОЯНКЕ около Денвера, штат Колорадо.

Даже я мог это предвидеть.

Она ушла поискать помады для моих губ, пока водитель пошёл отлить — мы с Адамом оба спали, когда услышали её крики.

Конечно же, она так и планировала.

В темноте, с лунным светом через окна, я пробираюсь через мебель к входным дверям, которые Адам бросил открытыми.

Мы отъезжаем от стоянки — набираем скорость — как будто водитель соревнуется с Изобилией, бегущей за нами — в её протянутой руке тюбик помады — рыжие волосы развеваются за ней — её туфли стучат по асфальту.

Адам протягивает руку, чтобы помочь ей — второй рукой он держится за дверной косяк — из-за тряски в доме маленький столик с мраморной столешницей падает и выкатывается мимо Адама в двери — Изобилия уклоняется, когда столик разбивается о дорогу.

Адам говорит: «Хватай мою руку, ты можешь достать её».

Стул из столовой выпадает из дома и разбивается, почти задев Изобилию, и она говорит: «Нет».

Её слов почти не слышно за рёвом двигателя, она говорит: «Возьми помаду».

Адам говорит: «Нет, если я не достану тебя, мы выпрыгнем. Мы должны быть вместе».

«Нет», — говорит Изобилия. — «Возьми помаду, она ему нужна».

Адам говорит: «*Ты* ему нужна больше».

В окна, которые мы оставили открытыми, дует ветер — по коридорам простой удобной планировки к входным дверям — подхватывает подушки с дивана и выбрасывает в двери рядом с Адамом — они летят в Изобилию — попадают ей в лицо и почти сбивают её с ног — картины в рамках — ботанические репродукции — рисунки лошадей — срываются со стен и летят, чтобы взорваться осколками стекла и деревянными осколками искусства.

Я хочу помочь, но я слишком слабый — я потерял слишком много внимания за последние дни — я еле стою — у меня высокий уровень сахара в крови — я только могу смотреть, как Изобилия падает позади, а Адам рискует, высовываясь всё дальше и дальше.

Шёлковые цветы в букетах падают — и красные шёлковые розы — красные шёлковые герани — и голубые ирисы — вылетают из дверей и падают вокруг Изобилии — символы забвения, маки — падают на землю и она бежит по ним — ветер бросает искусственный оранжевый цвет — и душистый горошек, белый и розовый — и орхидеи, белые и пурпурные — к ногам Изобилии.

«Не прыгай», — говорит Изобилия.

Она говорит: «Я найду вас. Я *знаю*, куда вы едете».

В какой-то момент она почти делает это — Изобилия почти дотягивается до руки Адама — но когда он пытается схватить её и втащить внутрь — их руки разминаются.

Почти разминаются.

Адам разжимает руку, и в ней тюбик губной помады.

И Изобилия исчезает в темноте позади нас.

Изобилии нет.

Мы едем, наверное, миль шестьдесят в час.

Адам поворачивается и кидает тюбик мне так сильно, что он отлетает от двух стен.

Адам рычит: «Надеюсь, *теперь* ты счастлив? Надеюсь, твоим губам будет *лучше?*»

Шкаф с посудой в столовой открывается — и тарелки — салатницы — супницы — столовые тарелки — бокалы и чашки — падают и выкатываются во входные двери — всё это разбивается об дорожку и оставляет за нами широкий сверкающий в свете луны след.

Никто не бежит за нами — Адам борется с цветным телевизором с объёмным звуком и улучшенным качеством изображения — тащит его к дверям — с криком выбрасывает его с порога — выбрасывает бархатное кресло — спинет[†] — всё это просто взрывается, коснувшись дорожки.

Потом он смотрит на меня.

Глупого слабого отчаявшегося меня.

Я ползаю по полу, чтобы найти помаду.

Его зубы обнажены — волосы падают на лицо — Адам говорит: «Я должен бы выбросить *тебя* в эту дверь».

Мимо окна проносится знак: «Оклахома 25 миль».

И улыбка, медленная и жуткая, разрезает лицо Адама.

Он поворачивается к открытым дверям и перекрикивает завывания ветра.

«Изобилия Холлис!» — кричит он.

«Спасибо!» — кричит он.

В темноту позади нас — в темноту с осколками и обломками позади нас — Адам кричит: «Я не забуду то, что ты сказала мне, должно случиться!»

[†] Старинный клавишный инструмент, вышедший из широкого обихода после изобретения рояля. Послушать можно в начале альбома «*Ommadawn*» малоизвестного музыканта Майка Олдфилда.

10

т е н

д е с я т ь

ВНОЧЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК МЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ, я рассказал своему старшему брату всё, что я знал про церковный округ Правоверных.

В церковном округе мы растили всё, что ели — пшеницу, яйца, овец и коров.

Я помню — у нас были прекрасные сады.

И мы ловили сверкающую радужную форель в реке.

Мы на заднем крыльце дома, делающего шестьдесят миль в час через Небраску ночью по шоссе восемьдесят, — на стенах в доме лампы из резного стекла и золочёные краны в ванной — ни электричества — ни воды — всё прекрасно и ничего не работает.

«Ни электричества, ни воды!», — говорит Адам. — «Совсем как в детстве».

Мы сидим на заднем крыльце — болтая ногами над бегущим под ногами асфальтом — вокруг нас воняет выхлопными газами из выхлопных труб грузовика.

В церковном округе Правоверных, говорю я Адаму, люди жили простой, плодотворной жизнью.

Мы были стойкими и гордыми людьми.

Наш воздух и наша вода были чистыми.

Наши дни были исполнены пользы.

Наши ночи были прозрачны — я помню это.

Вот, почему я *не* хочу назад.

Ничего там не будет, кроме санитарного захоронения непристойных материалов имени Труженика Брэнсона — и я не хочу видеть своими глазами, как это будет выглядеть — годы порнографии со всей страны, собранные, чтобы гнить здесь — агент показывал мне счета — тонны непристойностей — мусорные грузовики — товарные вагоны — самосвалы — полные непристойностей прибывают туда каждый месяц — бульдозеры разравнивают эту грязь трёхфутовым слоем по двадцати тысячам ярдов.

Я не хочу это видеть.

Я не хочу, чтобы Адам это видел.

Но у Адама есть пистолет, а у меня нет Изобилии, чтобы она сказала, заряжен он или нет.

А кроме того я слишком привык, чтобы мне говорили, что делать, куда идти и как себя вести.

Моя новая работа — это следовать за Адамом.

Так что мы возвращаемся в церковный округ.

В Грэнд-Айленд мы украдём машину, говорит Адам — мы доберёмся к долине как раз к восходу, предсказывает Адам — это всего несколько часов — мы приедем домой утром в воскресенье.

Мы оба смотрим на темноту позади нас и на всё, что мы потеряли.

Адам говорит: «Что ещё ты помнишь?»

Всё в церковном округе всегда было чистым.

Дороги всегда были отремонтированы.

Лето было долгим и мягким, и дожди каждые десять дней.

Я помню — зимы были мягкими и спокойными.

Я помню, как перебирали зерно маргариток и подсолнухов.

Я помню, как колол дрова.

Адам спрашивает: «Ты помнишь мою жену?»

Не очень.

«А в ней не очень-то и было, что помнить», — говорит Адам — у него на коленях пистолет в руке — а то бы я здесь не сидел.

«Она была Послушница Глисон, мы должны были быть вместе очень счастливы».

Пока кто-то не позвонил правительству и не начал расследование.

«Мы должны были родить дюжину детей и заработать кучу денег», — говорит Адам.

Пока окружной шериф не попросил документы на всех детей.

«Мы должны были стариться на этой ферме, с каждым годом как предыдущий».

Пока ФБР не начало расследование.

«Мы должны были оба стать церковными старейшинами когда-нибудь», — говорит Адам.

Пока не — Исход.

«Исход».

Я помню — жизнь была спокойной и мирной в долине округа.

Коровы и цыплята бегали на свободе.

Бельё сохло на верёвках.

Запах сена в амбаре.

Яблочные пироги остывали на каждом подоконнике.

Я помню — это была прекрасная жизнь.

Адам смотрит на меня и качает головой.

Он говорит: «Ну какой же ты тупой».

Адам выглядит как выглядел бы я если бы ничего из этого ужаса со мной не произошло — Адам это то, что Изобилия назвала бы моей «контрольной группой».

Если бы я не был крещён и отослан в мир вокруг — если бы я никогда не был знаменитым и непропорционально раздутым — это был бы я — с простыми голубыми глазами Адама и его светлыми волосами — мои плечи были бы обычного размера — мои наманикюренные руки с прозрачным лаком на ногтях были бы его сильными руками — мои потрескавшиеся губы

были бы как его губы — моя спина была бы прямой — моё сердце было бы его сердцем.

Адам смотрит в темноту и говорит: «Я погубил их».

Правоверных уцелевших.

«Нет», — говорит Адам. — «Их *всех*. Всю церковную колонию. Это я позвонил в полицию. Однажды ночью я ушёл из долины и шёл, пока не нашёл телефон».

На каждом дереве Правоверных были птицы — я помню.

И мы ловили раков, привязывая кусок свиного жира к леске и бросая его в ручей — а когда доставали, жир был весь покрыт раками.

«Я, наверно, нажал “ноль” на телефоне[†]», — говорит Адам. — «Но я попросил шерифа. Я сказал кому-то, кто ответил, что только у одного из каждых двадцати Правоверных детей есть свидетельство о рождении, я сказал им, что Правоверные прячут своих детей от правительства».

Лошади.

Я помню — у нас были упряжки лошадей, чтобы пахать и тянуть телеги.

И мы называли их по цветам, потому что давать имена животным — это грех.

«Я сказал им, что Правоверные издеваются над своими детьми, и что они не платят налоги на большую часть прибыли», — сказал Адам. — «Я сказал им, что Правоверные ленивые и беспомощные. Я сказал, что для Правоверных дети — это источник дохода. Что их дети — это их имущество».

Сосульки на домах — я помню.

Тыквы.

Костры в честь сбора урожая.

«Это я начал расследование», — говорит Адам.

Мы пели в церкви — я помню.

Шили стёганные одеяла.

[†] в Соединённых Штатах «ноль» используется для вызова телефонистки.

Строили сараи.

«Я ушёл из колонии той ночью и никогда не возвращался», — говорит Адам.

Меня любили и заботились обо мне — я помню.

«У нас никогда не было никаких лошадей. Пара цыплят и свиней на показ», — говорит Адам. — «Ты всегда был в школе. Ты просто помнишь, чему тебя научили, что жизнь Правоверных такая же, как сто лет назад. Блядь, да сто лет назад у *всех* были лошади».

Я был счастлив, и моё место было там — я помню.

Адам говорит: «Не было чёрных Правоверных. Правоверные старейшины были кучкой расистов, сексистов и работоторговцев».

Я помню, что чувствовал себя в безопасности.

Адам говорит: «Всё что ты помнишь — это неправда».

Меня ценили и любили — я помню.

«Ты помнишь враньё», — говорит Адам. — «Тебя выкормили, обучили и продали».

А его — нет.

Нет, Адам Брэнсон был *перворожждённым* сыном.

Три минуты — вот и всё отличие — он должен был получить всё — амбары — и цыплят — и агнцев — мир и безопасность — он должен был унаследовать будущее.

А я должен был быть трудовым миссионером.

Стричь газон.

И стричь газон.

Вечно.

Темнота ночи в Небраске — дорога скользит вокруг нас.

Одним хорошим толчком, говорю я себе, я могу избавиться от Адама Брэнсона в моей жизни.

«Почти всё, что мы ели, мы покупали в мире вокруг», — говорит Адам. — «Я унаследовал ферму, чтобы растить и продавать своих детей».

Адам говорит: «Мы даже мусор не перерабатывали».

Так вот почему он вызвал шерифа?

«Я и не ждал что ты поймёшь», — говорит Адам. — «Ты всё ещё восьмилетний мальчик, сидящий в школе, верящий всему, что ему сказали. Ты помнишь картинки в книгах. Они спланировали всю твою жизнь. Ты всё ещё *спишь*».

А Адам Брэнсон проснулся?

«Я проснулся ночью, и позвонил. Той ночью я сделал то, что уже нельзя исправить», — говорит Адам.

Так что я могу *ещё* сделать, чтобы изменить свою жизнь?

«Единственный способ, как ты можешь стать личностью — это сделать одну вещь, которую Правоверные старейшины научили тебя не делать лучше всего», — говорит Адам. — «Совершить самое большое преступление. Абсолютный грех. Повернуться спиной к церковной доктрине», — говорит Адам.

«Даже Райский сад был просто большой красивой клеткой», — говорит Адам. — «Ты был бы рабом всю жизнь, если бы не вкусил яблока».

Я ел *целые* яблоки.

Я делал всё — я был на телевидении и поносил церковь — я богохульствовал перед миллионами людей — я врал — и воровал — и убивал, если считать Тревора Холлиса — я осквернил своё тело наркотиками — я уничтожил долину церкви Правоверных — я работал все воскресенья последние десять лет.

Адам говорит: «Ты всё ещё девственник».

Одним прыжком, говорю я себе, я могу навсегда решить все свои проблемы.

«Ну, знаешь — танцы на кровати — перепихнуться — засадить — кинуть палку — переспать — потереться — ну, грязные дела», — говорит Адам.

«Перестань пытаться наладить свою жизнь. Реши одну большую проблему», — говорит Адам.

«Маленький братик», — говорит Адам, — «тебе нужно кого-то выебать».

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ ПРАВОВЕРНЫХ.

Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят акров — почти вся долина у истока реки Флемминг — к северо-западу от Грэнд-Айленд, штат Небраска — четыре часа машиной от Грэнд-Айленд — пять часов от Сиу-Фоллз, если ехать на юг.

Вот и вся правда из того, что я знаю.

Хотя Адам объяснил всё остальное, я всё ещё сомневаюсь.

Адам сказал, что первый шаг во многих культурах, чтобы сделать тебя рабом, — это кастрировать тебя.

Это называется «евнухи».

Короче, многие культуры делают так, чтобы ты не слишком наслаждался сексом — отрезают что-нибудь — часть «клитора», как Адам говорит, это называется — или крайнюю плоть — тогда твои чувствительные части, которыми ты больше всего наслаждался, грубеют, и ты чувствуешь всё меньше и меньше.

Так и задумано, говорит Адам.

Мы едем остаток ночи — удаляемся от восхода — пытаемся убежать от него — пытаемся не увидеть то, что оно покажет нам, когда мы доберёмся домой.

На приборной панели машины приклеена шестидюймовая статуэтка мужчины в церковном костюме Правоверных — мешковатые штаны — шерстяное пальто — шляпа — его глаза из светящейся в темноте пластмассы — его руки сложены в молитве — подняты так высоко и так далеко выставлены перед собой, что кажется, что он собирается нырнуть с приборной доски.

Изобилия сказала Адаму искать зелёный «Chevrolet» — последнюю модель — где-то в двух кварталах от стоянки грузовиков в Грэнд-Айленд — она сказала, что ключи будут оставлены в машине, и бак будет полон бензина — так что когда мы вышли из дома, нам потребовалось меньше пяти минут, чтобы найти машину.

Адам смотрит на статуэтку перед собой и говорит: «Что это ещё такое должно быть?»

Это должно быть — я.

«На тебя совсем не похоже».

Это должно выглядеть набожно.

«Это выглядит похожим на дьявола», — говорит Адам.

Я веду машину, Адам говорит.

Адам говорит, культуры, которые не кастрируют тебя, чтобы сделать рабом — они кастрируют твой разум — они делают секс таким грязным и злым и опасным, что как бы ты ни хотел иметь сексуальные отношения — ты *не посмеешь*.

Так поступает большинство религий в мире, говорит Адам.

И так поступали Правоверные.

Это не то, что я хотел бы слышать, но когда я включаю радио, все кнопки настроены на религиозные станции — хоралы — госпел — священник говорит мне, что я плохой и не прав — на одной станции я слышу знакомый голос — «Радиопастырь Труженик Брэнсон» — одно из тысяч радишоу, которые я записал в студии не помню где.

«Издевательства Правоверных старейшин были невыразимы», — говорю я по радио.

Адам говорит: «Ты помнишь, что они делали с тобой?»

По радио я говорю: «Издевательства не кончались никогда».

«Когда ты был ребёнком, я имею в виду», — говорит Адам.

Снаружи солнце встаёт, выхватывая формы из темноты.

По радио я говорю: «Весь образ наших мыслей был под контролем. У нас не было ни одного шанса. Никто из нас в мире вокруг никогда бы не захотел секса. Мы никогда не предали бы церковь. Мы бы провели всю свою жизнь за работой».

«А если ты никогда не занимался сексом», — говорит Адам, — «ты никогда не получал ощущения силы. Ты никогда не получал го́лоса и не становился личностью. Секс — это то, что отделяет нас от родителей, детей от взрослых. Секс — это первый бунт молодых».

А если ты никогда не занимался сексом, говорит мне Адам, ты никогда не станешь ничем кроме того, кем тебя научили быть родители.

Если ты не нарушишь запрет на секс, ты не нарушишь *других* запретов.

По радио я говорю: «Кому-то из мира вокруг трудно представить, как тщательно обучены мы были».

«Вьетнамская война не вызвала беспорядки шестидесятых», — говорит Адам. — «Их не вызвали наркотики. Это сделало одно лекарство — противозачаточная пиллюля. Впервые в истории все могли получить столько секса, сколько им хотелось. *Все* могли получить эту власть».

Самые могучие правители в истории были сексуальными маньяками.

И Адам спрашивает, происходил ли их сексуальный аппетит от власти, или жажда власти происходила от секса?

«А если у тебя не было секса», — говорит он, — «захочешь ли ты власти?»

Нет, говорит он.

«Вместо того чтобы выбирать приличных, скучных, сексуально подавленных политиков», — говорит он, — «может быть, нужно найти озабоченных кандидатов, и может они хоть что-то сделают».

Мимо проносится знак «Санитарное захоронение непристойных материалов имени Труженика Брэнсона 10 миль».

Адам говорит: «Ты понимаешь, к чему я?»

До до́ма десять минут.

Адам говорит: «Ты *должен* помнить, что случилось».

Ничего не случилось.

По радио я говорю: «Нельзя описать, как ужасны были издевательства».

Всё чаще и чаще по обочинам дороги встречаются грязные журналы, выпавшие из открытых грузовиков — выцветающие фотографии голых красивых женщин на обложках обнимают стволы деревьев — залитые дождём мужчины с длинными лиловыми эрекциями свисают с ветвей — чёрные коробки видеокассет валяются в гравии — проколота женщина из розового винила лежит в сорняках — ветер развевает её волосы и руки, словно машет нам.

«Секс — это *не* страшная и пугающая вещь», — говорит Адам.

По радио я говорю: «Лучше будет, если я просто оставлю своё прошлое позади и буду двигаться дальше».

Впереди есть место, где деревья по сторонам дороги заканчиваются, и больше за ними ничего нет — солнце обогнало нас и взшло — и впереди нас ничего кроме пустыни.

Мимо проносится знак «Добро пожаловать в Санитарное захоронение непристойных материалов имени Труженика Брэнсона».

Мы дома.

Позади знака долина простирается до горизонта — голая — замусоренная — серая — за исключением яркого жёлтого нескольких бульдозеров — тихая, потому что сегодня воскресенье.

Деревьев нет.

Птиц нет.

Единственное возвышение в центре долины — высокая бетонная колонна — серая квадратная колонна бетона на том месте, где стоял дом собраний Правоверных со всеми мёртвыми внутри — десять лет назад.

На земле вокруг нас фотографии мужчин с женщинами — женщин с женщинами — мужчин с мужчинами — мужчин с женщинами с животными и с игрушками.

Адам не говорит ни слова.

По радио я говорю: «Моя жизнь теперь исполнена любви и радости».

По радио я говорю: «Я жду венчания с женщиной, которая избрана для меня в рамках кампании "Бытие"».

По радио я говорю: «При помощи моих последователей я сдержу жажду секса и похоть, которые овладели миром».

Длинная дорога от края долины к бетонной колонне в центре изрезана колеями — по обе стороны дороги — видео-кассеты — журналы — влагилица из латекса — вибраторы в чадящих кучах — и дым от этих куч — удушливый грязный белый туман поперёк дороги.

Впереди колонна становится всё больше и больше — иногда исчезает за дымом горящей порнографии — но только чтобы снова появиться — ещё больше.

По радио я говорю: «Вся моя жизнь продаётся в книжном магазине рядом с вами».

По радио я говорю: «С Божьей помощью я отвращу мир от жажды секса».

Адам выключает радио.

Адам говорит: «Я ушёл из долины ночью, когда узнал, что старейшины делали с тобой, со всеми тружениками и послушниками».

Дым стелется над дорогой — он проникает в машину — в наши лёгкие — разъедающий и жгущий глаза.

Со слезами текущими по щекам я говорю: «Они ничего не делали».

Адам кашляет: «*Признай* это».

Колонна снова появляется, ближе.

Нечего признавать.

Дым закрывает от нас всё.

И тогда Адам говорит это.

Адам говорит: «Они заставили тебя *смотреть*».

Я ничего не вижу, но продолжаю вести машину.

«В ночь, когда моя жена рожала нашего первого ребёнка», — говорит Адам, и дымные слёзы оставляют чёрные дорожки на его щеках, — «старейшины собрали всех тружеников

и послушниц в округе и заставили их смотреть. Моя жена кричала, как они ей сказали. Она кричала — и старейшины молились и кричали о том, что расплата за секс — это смерть. Она кричала — и они сделали рождение таким болезненным, каким могли. Она кричала — и ребёнок умер. Наш ребёнок. Она кричала — и потом она умерла».

Первые две жертвы Исхода.

Это в ту ночь Адам ушёл из церковного округа Правоверных и позвонил по телефону.

«Старейшины заставляли тебя смотреть каждый раз, когда в округе рождался ребёнок», — говорит Адам.

Мы едем только двадцать или тридцать миль в час, но где-то в дыму прямо впереди нас гигантская бетонная колонна памятника церкви.

Я не могу сказать ничего, но продолжаю дышать.

«Так что, конечно, ты *никогда* не захотел бы секса. Ты никогда бы не захотел секса, потому что *каждый раз*, когда наша мать рожала ребёнка», — говорит Адам, — «они заставляли тебя сидеть и смотреть. Потому что секс для тебя — только боль и грех и твоя мать, лежащая там и кричащая».

И он говорит это.

Дым такой густой, что я даже Адама не вижу.

Он говорит: «Теперь секс должен тебе казаться пыткой».

Он просто выплёвывает это.

Аромат «Правда».

И внезапно дым исчезает.

И мы врезаемся в бетонную стену.

8

e i g h t

в о с е м ь

С НАЧАЛА НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ ПЫЛИ. МЕЛКИЙ БЕЛЫЙ порошок талька висит в машине, перемешавшись с дымом.

Пыль и дым носятся в воздухе.

Единственный звук — это что-то льётся в моторе.

Масло. Антифриз. Бензин.

И тут Адам начинает кричать.

Порошок из воздушных подушек, которые защитили нас в момент удара — воздушные подушки съёжились пустые на приборной панели — и когда пыль оседает, Адам кричит и держится за лицо — кровь течёт между его пальцами — она чёрная на фоне белого талька, который покрывает всё — одна его рука держится за лицо — вторая рука открывает дверцу и он вываливается в пустыню.

Он затерялся в дыму вокруг нас — ковыляет по голым телам — по слоям вечно прелюбодействующих людей — и я кричу ему вслед — я выкрикиваю его имя — я не знаю, где он — я кричу его имя.

Куда бы я ни шагнул — с журналов смотрят «Горячие девочки».

«Любительницы больших членов».

«Губки, сиськи и огромные письки».

Стоны звучат вокруг меня.

Я кричу, Адам Брэнсон!

Но я вижу только «Мужские анальные приключения».

«Девочки трахают девочек».

«Бисексуальные парочки».

Позади меня взрывается наша машина.

Бетонная колонна — серая и возвышающаяся над нами — в огне с одной стороны — и в огне пожара я вижу Адама, стоящего на коленях в нескольких ярдах рядом — его руки закрывают его лицо — он раскачивается и стонет — его кровь течёт по его рукам — по лицу — по белой от талька одежде — и когда я хочу убрать его руки от лица, он кричит: «Не смей!».

Адам кричит: «Это моя кара!»

Его крик срывается на смех, и Адам убирает руки, чтобы показать мне.

Маленькие пластиковые ноги статуэтки Труженика Брэнсона торчат из кровавого месива, которое было его левым глазом.

Адам полусмеётся-полустонет: «Это моя кара!»

Остаток статуэтки вошёл внутрь — я не знаю, насколько глубоко.

Главное, говорю я, не паниковать.

Секрет, как с этим справиться, простой: *нам нужен доктор!!!*

Чёрный дым горячей машины накрывает нас.

Кроме машины, двадцать тысяч акров вокруг нас пустые и необъятные.

Адам падает на бок — перекачивается на спину — смотрит в небо невидящими глазами — одним от залившей его крови — вторым от статуэтки в нём.

Адам говорит: «Ты не можешь оставить меня здесь».

Я говорю, я никуда не собираюсь.

Адам говорит: «Ты не можешь дать им меня арестовать за массовые убийства».

Я говорю, но не я же тот, кто отправил их всех на Небеса.

Быстро и глубоко дыша, Адам говорит: «Ты должен *отправить* меня».

Я пошёл за помощью.

«Ты должен отправить на Небеса меня!»

Я найду ему доктора, говорю я — найду ему хорошего адвоката — мы будем настаивать на невменяемости — он был обучен церковью, как и я — он только делал то, чему его учили всю жизнь.

«Ты знаешь», — говорит Адам и сглатывает, — «ты знаешь, что случается с мужчинами в тюрьме? Ты знаешь. Не дай этому случиться со мной».

На журнале рядом написано: «Групповая ебля в жопу».

Я не буду отправлять его на Небеса.

«Тогда изуродуй меня», — говорит Адам. — «Сделай меня таким страшным, чтобы меня никто никогда не захотел».

На журнале рядом написано: «Анальная мания».

И я спрашиваю, как?

«Найди камень», — говорит Адам. — «Под этим мусором. Найди что-то твёрдое. Камень. Копай».

Всё ещё на спине, Адам тянет обеими руками за пластиковые ноги статуэтки — у него перехватывает дыхание, но он тянет и проворачивает.

Я копаю обеими руками — сквозь людей, прижавшихся друг к другу промежностью к промежности — лицом к лицу — промежностью к лицу — промежностью к заднице — задницей к лицу — я копаю яму.

Я выкопал яму размером с могилу, прежде чем докопался до земли — до кладбища Правоверных — святой земли — и я поднимаю камень с кулак размером.

В одной руке Адам держит статуэтку, измазанную кровью, как никогда похожую на дьявола — другой рукой он шарит по земле рядом с собой и закрывает журналом своё искалеченное лицо.

В журнале мужчина и женщина совокупаются.

И из-под него Адам говорит: «Когда найдёшь камень, ударь меня им по лицу, когда я скажу».

Я не могу.

«Я не дам тебе меня убить», — говорит Адам.

Я не верю ему.

«Ты дашь мне лучшую жизнь. Это в твоих силах», — говорит Адам из-под журнала. — «Если ты хочешь спасти мне жизнь, сначала сделай это».

Адам говорит: «А если нет, то как только ты уйдёшь за помощью, я уползу и спрячусь, и умру здесь».

Я взвешиваю камень на руке.

Я спрашиваю, он скажет мне, когда остановиться?

«Я скажу, когда с меня хватит».

Он обещает?

«Я обещаю».

Я поднимаю камень, так что его тень падает на людей, занимающихся сексом на лице у Адама.

И я опускаю камень.

Камень погружается внутрь.

«Ещё!» — кричит Адам. — «Сильнее!»

И я опускаю камень.

Камень погружается глубже.

«Ещё!»

И я опускаю камень.

«Ещё!»

И я опускаю камень.

Кровь сочится через страницы, окрашивая совокупляющуюся парочку красным и пурпурным.

«Ещё!» — говорит Адам, его голос изменился. Его рот и нос теперь другой формы.

И я опускаю камень на руки парочки — на их ноги — на их лица.

«Ещё!»

И я опускаю камень — пока он не становится красным — и липким — от крови — пока не затолкал журнал внутрь — пока мои рúки не стали — красными — и липкими.

Тогда я останавливаюсь.

Я говорю, Адам?

Я хочу приподнять журнал, но он расплзается — он весь пропитался кровью.

Рука Адама, сжимающая статуэтку, расслабляется и окровавленная статуэтка катится в яму, которую я вырыл, чтобы найти что-то твёрдое.

Я спрашиваю, Адам?

Ветер накрывает нас обоих дымом.

Огромная тень ползёт на нас от основания колонны, она слегка касается Адама, а в следующую минуту накрывает его полностью.

ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ЭТО РЕЙС ДВАДЦАТЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ.
Наш третий двигатель только что выгорел.

Остался только один двигатель до того, как мы начнём наше
«конечное снижение».

7

s e v e n
с е м ь

ХОЛОДНАЯ ТЕНЬ МОНУМЕНТА ЦЕРКВИ ПРАВОВЕРНЫХ падает на меня всё утро, пока я хороню Адама Брэнсона под слоями непристойностей — под «Жадными жопами» — под «Изнасилованными транссексуалами» — я зарываюсь руками в грязь церковного кладбища — камни с выбитыми ивами и черепами вокруг меня.

Эпитафии на них такие, как вы думаете.

Ушёл, но не забыт.

Да простят Небеса ошибки его.

Любимый отец. Дорогая мать.

Опозоренная семья.

Да подарит им хоть чей-нибудь Бог прощение и покой.

Бесполезная психолог. Несносный агент.

Дурно влияющий брат.

Может быть, это инъекции «ботокса», токсина ботулизма — или взаимодействие наркотиков — или недостаток сна — или последствия синдрома отсутствия внимания — но я ничего не чувствую — внутри рта горько — я давя на лимфоузлы на шее, но чувствую только презрение.

Может быть оттого, что все вокруг меня умирают, я научил-ся терять людей.

Моё призвание. Благословение.

Как стерильность Изобилии — это её талант, полезный в работе суррогатной матери — может быть, я приобрёл полезное

отсутствие чувств — может быть, это просто шок, как смотреть на свою ногу, оторванную у колена, и сначала не чувствовать.

Но я надеюсь — нет.

Я не хочу, чтобы это проходило.

Я молюсь, чтобы никогда больше ничего не чувствовать.

Потому что, если это пройдёт — будет очень больно, будет больно до конца моей жизни.

Этому не учат в школе хороших манер, но чтобы собаки не разрывали то, что ты закопал, нужно побрызгать могилу нашатырём, а чтобы отпугнуть муравьёв — бурой.

Для тараканов — квасцы.

Для крыс — масло перечной мяты.

Чтобы удалить следы крови из-под ногтей, нужно погрузить кончики пальцев в половинку лимона и подвигать ими, а потом сполоснуть тёплой водой.

Разбитая машина выгорела до дымящихся сидений — только эта лента чёрного дыма через долину.

Когда я поднимаю тело Адама, пистолет выпадает из кармана его пиджака.

Единственный звук — это несколько мух летает вокруг камня с отпечатком моей руки в крови.

То, что осталось от лица Адама — всё ещё в размокшем журнале.

Когда я опускаю сначала его ноги, а потом плечи в выкопанную яму, жёлтое такси приближается ко мне с горизонта.

Размер ямы такой, что Адам помещается только согнутым и на боку. Став на колени на краю, я начинаю засыпать его грязью.

Когда заканчивается земля, я засыпаю его выцветшей порнографией — грязными книжками с порванными переплётками — Трейси Лордс и Джон Холмс — Кала Кливедж и Дик Рэмбон† — вибраторы с мёртвыми батарейками — надорванные игральные карты — просроченные презервативы — хрупкие и ломкие, но никогда не использованные.

† перечисляются имена-псевдонимы порнозвезд.

Я знаю это чувство.

Презервативы с рифлением для повышенной чувствительности.

Последнее, что мне нужно, это чувствительность.

Презервативы, смазанные анестетиками для продолжительного сношения.

Какой парадокс — ничего не чувствуешь, зато можешь трахаться часами.

Как-то это всё-таки странно.

Я хотел бы, чтобы вся моя жизнь была смазана анестетиком.

Жёлтое такси прыгает по ухабам — приближается — один человек за рулём — один человек на заднем сиденье — я не знаю, кто это, но могу себе представить.

Я подбираю пистолет и пытаюсь спрятать его в карман.

Ствол прорывает подкладку кармана — и теперь пистолет спрятан.

Я не знаю, есть ли внутри пули.

Такси останавливается на расстоянии окрика.

Изобилия выходит и машет мне, она наклоняется к окошку водителя и ветер доносит её слова ко мне: «Подождите, пожалуйста, это займёт одну минуту».

Потом она идёт, держа равновесие вытянутыми в стороны руками, и смотрит вниз с каждым шагом по скользким глянцевым слоям старых журналов.

«Оргия мальчиков».

«Жаждающие спермы».

«Я подумала, сейчас тебе не помешает компания», — говорит она мне.

Я оглядываюсь в поисках какой-нибудь тряпки, эротического белья, чтобы вытереть руки от крови.

Поднимая глаза, Изобилия говорит: «Ух ты — тень монумента Правовой смерти падает на могилу Адама. Это так символично».

Три часа закапывания Адама — это самое моё долгое время без работы.

Теперь Изобилия Холлис говорит мне, что делать.

Моя новая работа — это следовать за ней.

Изобилия оглядывается вокруг и говорит: «Здесь и правда долина смертельной тени».

Она говорит: «Ты выбрал хорошее место, чтобы проломить череп своему брату. Это так похоже на Каина и Авеля».

Я убил своего брата. Я убил её брата.

Адам Брэнсон. Трэвор Холлис.

Держите братьев от меня подальше, если у меня есть телефон или камень.

Изобилия запускает руку в сумку на плече и спрашивает: «Хочешь конфетку?»

Я показываю ей руки в засохшей крови.

Она говорит: «Наверно, нет».

Она оглядывается через плечо на такси и машет, из окна водителя показывается рука и машет ей в ответ.

Мне она говорит: «Давай забудем об этом. Адам и Тревор оба убили себя практически сами».

Она говорит мне, Тревор убил себя потому, что в его жизни больше не было неожиданностей — не было приключений — он был совершенно болен — он умирал со скуки — единственной оставшейся загадкой была смерть.

Адам хотел умереть потому, что знал — так как его обучили, он никогда не сможет быть никем кроме Правоверного.

Адам убивал уцелевших Правоверных потому, что знал — культура рабов не станет культурой свободных людей.

Как Моисей водил народ израильский по пустыне целое поколение — Адам хотел, чтобы я уцелел — но только не рабом.

Изобилия говорит: «Ты не убивал моего брата».

Изобилия говорит: «И ты не убивал своего брата тоже. То, что ты сделал — это скорее помощь в самоубийстве».

Из сумки на плече она достаёт цветы — настоящие цветы — маленький букет свежих роз и гвоздик — красные розы и белые гвоздики вместе.

«Подумай над этим», — говорит она и наклоняется, чтобы положить их на журналы, где похоронен Адам.

«Вот ещё один символ», — говорит она и смотрит на меня. — «Эти цветы сгниют через пару часов, птицы насрут на них, они начнут вонять от дыма, а завтра бульдозер их наверно зароет — но сейчас они такие красивые».

Она такая умная и привлекательная.

«Да», — говорит она, — «я знаю».

Изобилия встаёт на ноги и берёт меня за чистый кусок руки, не покрытый засохшей кровью, и ведёт меня к машине.

«Мы можем быть усталыми и бессердечными *потом*, когда это не будет мне стоить столько денег», — говорит она.

По дороге к такси она говорит, что вся нация возмущена тем, как я испортил суперкубок — мы не сможем сесть на самолёт или автобус нигде — газеты называют меня Антихристом — массовым Правоверным убийцей.

Доходы от товаров Труженика Брэнсона невероятно взлетели, но по совсем другим причинам — а все мировые религии, католики и евреи и баптисты и все остальные, говорят: мы вас предупреждали.

Не дойдя до такси, я прячу окровавленные руки в карманы, пистолет касается моего указательного пальца.

Изобилия открывает заднюю дверь такси и садит меня внутрь, потом обходит кругом и садится с другой стороны.

Она улыбается водителю в зеркало заднего вида и говорит: «А теперь, наверно, обратно в Грэнд-Айленд».

Счётчик такси показывает семьсот восемьдесят долларов.

Водитель смотрит на меня в зеркало и говорит: «Мама выкинула твой любимый прочильный журнал?»

Он говорит: «Это место бесконечно, если ты что потерял, ты никогда его здесь не найдёшь».

Изобилия шепчет: «Не реагируй на него».

Водитель — хронический алкаш, шепчет она — она собирается расплатиться кредиткой, потому что он умрёт через два дня, в аварии — он никогда не снимет деньги.

Солнце подходит к полудню — тень бетонной колонны становится всё меньше с каждой минутой.

Я спрашиваю, как поживает моя рыбка?

«А... э...», — говорит она. — «Твоя рыбка...»

Такси везёт нас обратно в мир вокруг.

Ничто не причинит мне боли сейчас, но я *не хочу* этого слышать.

«Твоя рыбка... мне правда жаль», — говорит Изобилия. — «Она умерла».

Рыбка номер шестьсот сорок один.

Я спрашиваю, она страдала?

Изобилия говорит: «Думаю, нет».

Я спрашиваю: «Ты забыла её покормить?»

«Нет».

Я спрашиваю, так что произошло?

Изобилия говорит: «Я не знаю. Просто она взяла и умерла».

Без причины.

Это ничего не значит.

Это не в знак протеста.

Она просто умерла.

Это была ебать её в рот просто рыбка, но это *всё, что у меня было*.

Любимая рыбка.

И после всего происшедшего слышать это должно быть легко.

Дорогая рыбка.

Но сидя здесь в такси с пистолетом в руке, с окровавленными руками в карманах, я начинаю плакать.

6

s i x

ш е с т ь

В ГРЭНД-АЙЛЕНД У НАС БЫЛ СЫН, БОЛЬНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, так что мы могли остаться на несколько дней в центре Рональда МакДональда.

После этого мы ехали в особняке на запад.

Там было только четыре спальни, и мы спали, отгородившись двумя спальнями друг от друга.

В Денвере у нас была маленькая девочка с полиомиелитом, так что мы смогли остаться в другом центре МакДональда, поесть и не чувствовать, что весь мир куда-то движется, пока мы спим.

В доме Рональда МакДональда нам пришлось делить комнату, но у нас было две кровати.

Из Денвера мы уехали в роскошном поместье, которое направлялось в Чейенн.

Мы просто дрейфовали, это не стоило нам денег.

Мы поймали половину городского дома, который ехал неизвестно куда, и попали в Биллингс, штат Монтана.

Мы начали играть в рулетку домов — мы не спрашивали на стоянках и в кафе, куда какой дом направляется — Изобилия и я — мы просто прорезали вход и заклеивали его позади себя.

Мы ехали три дня и три ночи, заклеенные в половине охотничьего домика, и проснулись только когда его устанавливали на фундамент в Гамильтоне, штата Монтана.

Мы вышли через чёрный ход, когда счастливая семья, купившая его, входила через парадный.

И у нас с собой были только сумка Изобилии и пистолет Адама.

Мы потерялись в пустыне.

Из Миссулы, штат Монтана, мы выбрались на трети поместья, ехавшего на запад по шоссе девяносто.

Мимо проносится знак: «Спокейн 300 миль».

После Спокейна мимо проносится знак: «Сиэтл 200 миль».

В Сиэтле у нас был маленький мальчик с пороком сердца.

В Такоме у нас была маленькая девочка, которая не чувствовала ни рук ни ног.

Мы говорили, что врачи не знают, что с ней.

Люди говорили нам ждать чуда.

Люди, у которых были настоящие дети, мёртвые или умирающие от рака, говорили нам, что Бог добрый и милостивый.

Мы жили вместе, как если бы поженились, но почти никогда не разговаривали.

На юг по шоссе пять через Портленд, штат Орегон — в половине особняка — и раньше, чем мы приготовились, мы снова дома — снова в городе, где мы познакомились — стоим на обочине — наш дом уезжает от нас.

Я всё ещё не сказал Изобилии, что последним желанием Адама было, чтобы мы с ней занялись сексом.

Как будто она и так не знает.

Она *знает*.

В те ночи, когда я был в горячке, Адам говорил с Изобилией — о том чтобы мы с ней занялись сексом, чтобы освободить меня и дать мне власть — чтобы доказать Изобилии, что секс может быть больше, чем толстеющий средних лет консультант, выливающий в неё свою ДНК.

Но теперь здесь нет места для нас, чтобы жить.

Её квартира и моя уже заняты другими людьми, Изобилия *знает* это.

«Я знаю место, где мы сможем переночевать», — говорит она, — «но сначала нужно позвонить».

В телефонной будке одно из моих объявлений, наклеенное миллион лет назад: «Дай своей жизни ещё один шанс, позвони за помощью» — и мой старый номер телефона.

Я звоню, и запись говорит мне, что номер отключён.

Я говорю в ответ: «Что, правда?»

Изобилия звонит в место, где, она думает, мы сможем остановиться.

В телефон она говорит: «Меня зовут Изобилия Холлис, меня рекомендовал доктор Уэбстер Амброуз».

Это её ужасная работа.

Это замкнутый круг истории агента.

Быть всезнающим как Изобилия довольно легко, ведь ничего нового не происходит.

«Да, я за адресом», — говорит она. — «Простите за то, что не предупредила раньше, но это первая возможность, которая появилась. Нет», — говорит она, — «это не снижает цену. Нет», — говорит она, — «это за всю ночь, но каждая попытка стоит дополнительно. Нет», — говорит она, — «скидок у нас нет».

Она говорит: «Мы можем договориться о деталях лично».

В телефон она говорит: «Нет, чаевых я не беру».

Она щёлкает пальцами и одними губами говорит: «Ручку!», и на моём объявлении записывает адрес, повторяя в телефон номер дома и улицу.

«Хорошо», — говорит она. — «Тогда в семь часов. До свиданья».

Над нами в небе то же солнце, которое видит, как мы совершаем те же ошибки снова и снова — то же голубое небо после всего, что произошло — нет ничего нового — всё как всегда.

Место, куда она везёт меня — это дом, в котором я работал.

Пара, на которую она работает сегодня — это мои работодатели из телефона.

5

f i v e

п я т ь

ПУТЬ В ПОСТЕЛЬ К ИЗОБИЛИИ ОБОЗНАЧЕН ГЯЗНЫМИ окнами и облезавшей краской — заплесневевшими плитками и пятнами ржавчины — на всём пути забившиеся тру́бы и следы износа — покосившиеся шторы и порванная обивка — полный комплект.

Это после того, как люди, на которых я работал, ушли с Изобилией наверх и занимаются там Бог знает чем.

Это после того как я залез через подвальное окно, которое, Изобилия знала, будет открыто.

Это после того, как я прятался в искусственных цветах в саду, каждый из которых украден с могилы.

После того, как Изобилия позвонила в дверь ровно в семь.

Кухня вся в пыли — посуда с остатками пищи из микроволновки сложена в мойку — микроволновка со слоем грязи от взорвавшейся при приготовлении еды.

Меня выкормили, обучили и продали — раба, которым я был и остался — так что я начинаю заниматься уборкой.

Просто спросите меня, как избавиться от запёкшейся грязи в микроволновке.

Ну давайте.

Спросите меня.

Секрет простой: нужно вскипятить чашку воды́ в микроволновке — кипятить несколько минут — пар размягчает грязь, которую потом можно вытереть.

Спросите меня, как удалить пятна крови с рук.

И ещё надо забыть, как быстро это происходит.

Самоубийства. Несчастные случаи. Преступления на почве страсти.

Изобилия наверху, делает свою работу.

Сосредоточься на пятне, пока оно не будет удалено из твоей памяти.

Повторение — мать учения.

Если это *так* называется.

Не думай о том, что твой главный талант — это сокрытие правды — Божий дар свершения страшного греха — твоё призвание — истинный дар отрицания — благословение.

Если это *так* называется.

Весь вечер я чищу, но всё равно чувствую себя грязным.

Изобилия сказала, что процедура закончится к полуночи.

Они отвели ей зелёную спальню и подложили под ноги подушки — когда пара заснёт в своей комнате, я смогу безопасно пробраться к ней наверх.

На часах микроволновки одиннадцать тридцать.

Я рискую — и путь к кровати Изобилии обозначен завядшими цветами — потускневшими дверными ручками — пятнами от мух — отпечатками пальцев после газетной краски — следами выпивки и сигаретными ожогами на мебели — в углах паутина.

Внутри зелёной спальни темно, из тени Изобилия говорит: «Наверно, нам нужно сейчас заняться сексом».

Я говорю, наверно.

Она говорит: «Ты не против нескольких сентиментальных секунд?»

Я говорю, нет. Я хочу сказать — это то, чего хотел бы Адам.

Она говорит: «У тебя есть резинки?»

Я говорю, я думал, она стерильна.

«Конечно же я стерильна», — говорит она. — «Но я занималась сексом с тысячей человек, у меня может быть какая-нибудь ужасная смертельная болезнь».

Я говорю, что это будет проблемой только если я захочу жить долго.

Изобилия говорит: «Вот и я так думаю о своём долге по кредитной карточке».

И мы занимаемся сексом.

Если это *так* называется.

Прождав этого всю жизнь, я успеваю войти в неё на полдюйма, и всё заканчивается.

«Ну», — говорит Изобилия и отпихивает меня, — «Я надеюсь, это прибавило тебе сил».

Она не даёт мне второй попытки заняться любовью.

Если это *так* называется.

После того, как она заснула, я смотрю на неё и думаю, что ей снится.

Снится ли ей какое-нибудь ужасное убийство, или самоубийство, или катастрофа.

И снюсь ли ей я.

4

f o u r

ч е т ы р е

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ИЗОБИЛИЯ ШЕПЧЕТСЯ С КЕМ-ТО ПО телефону.

Я просыпаюсь.

Она встала с постели и одета — спрашивает: «Есть рейс в восемь утра до Сиднея?»

Она говорит: «В один конец, пожалуйста. У окна, если можно. Вы принимаете VISA?»

Когда она замечает, что я смотрю на неё, она кладёт трубку и надевает туфли — она начинает записывать свой ежедневник в сумку, но потом кладёт его обратно на туалетный столик.

Я спрашиваю, куда она собирается?

«В Сидней».

Почему?

«Просто так».

Я говорю, скажи мне.

Она идёт с сумкой к двери спальни.

«Потому что я получила свою неожиданность», — говорит она. — «Я получила блядскую неожиданность, которой хотела, и ни хера она мне не нужна. Я не хочу этого!»

Чего?

«Я беременна!»

Откуда она знает?

«Я знаю всё!» — кричит она на меня. — «Ну, хорошо, я *знала* всё, я не знала *этого*. Я не знала, что должна буду принести ребёнка в этот жалкий скучный ужасный мир. Ребёнка, который унаследует мой дар видеть будущее и будет жизнь этой жизнью подавляющей скуки. Ребёнка, которого никогда нельзя будет удивить! Я не знала, что так будет».

Так что?

«Я лечу в Австралию, в Сидней».

Но почему?

«Моя мать убила себя. Мой брат убил себя. Сам догадайся».

Но почему в Австралию?

Она выходит из двери спальни и идёт с сумкой к лестнице — я бы последовал за ней, но я голый.

«Думай об этом», — кричит она мне, — «как о радикальной процедуре аборта».

Мужчина выходит из двери хозяйской спальни, одетый в синий костюм, который я гладил тысячу раз — голосом, который я тысячу раз слышал через громкую связь, он спрашивает меня: «Вы доктор Амброуз?»

К тому времени я надеваю одежду — Изобилия внизу лестницы и выходит из двери — через окно в спальне я вижу, как она идёт через газон к такси.

В коридоре женщина в шёлковой блузке, которую я стирал руками тысячу раз, подходит к мужчине в синем костюме — они замерли в дверях спальни — женщина, на которую я когда-то работал, кричит: «Это он! Помнишь? Он работал на нас! Он Антихрист!»

Я хватаю ежедневник Изобилии под мышку и бегу за ней — я бегу через переднюю дверь — по улице к автобусной остановке — мне нужна ещё минута, чтобы найти сегодняшнюю дату в книжке, — и вот он ответ.

В тринадцать двадцать пять сегодня, рейс двадцать тридцать девять, беспосадочный до Сиднея, будет угнан маньяком и разобьётся где-то на австралийском побережье.

ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. КАК ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА БОРТУ
рейса двадцать тридцать девять, здесь, над огромным берегом
Австралии, моим долгом является сообщить вам, что наш пос-
ледний двигатель только что выгорел.

Пожалуйста, пристегните ремни.

Мы начинаем конечное снижение к забвению.

3

t h r e e
т р и

АЭРОПОРТ ПОЛОН АГЕНТОВ ФБР, ИЩУЩИХ ТРУЖЕНИКА Брэнсона, массового убийцу — Труженика Брэнсона, лжепророка — Труженика Брэнсона, уничтожителя суперкубка — Труженика Брэнсона, который покинул свою возлюбленную невесту у алтаря.

Труженика Брэнсона, Антихриста.

Я догоняю Изобилию у стойки продажи билетов на самолёт.

Она говорит: «Один, пожалуйста. Я резервировала».

Чёрная краска для волос, которую мы использовали, была недели назад — видны светлые корни моих волос — жирная дорожная еда снова сделала меня толстым — это только вопрос времени, когда вооружённая охрана заметит меня и направит на меня оружие.

Карман моего пиджака пуст, когда я проверяю.

Пистолет Адама исчез.

«Если ты ищешь пистолет своего брата, то он у меня», — говорит Изобилия, наклонив ко мне голову. — «Этот самолёт угонят, даже если мне придётся сделать это самой».

В нём нет пуль, говорю я, она же знает это.

«Есть в нём пули», — говорит она, — «я обманывала тебя, чтобы ты не беспокоился».

Так что Адам мог застрелить меня в любой момент.

Из сумки Изобилия достаёт сияющую медную урну, она говорит продавцу: «Я беру с собой кремированные останки моего брата. Это разрешено?»

Агент говорит, что нет проблем. Они не могут просветить лучами урну, но разрешат ей взять её с собой на борт.

Изобилия платит за билеты, и мы идём к выходу.

Она вручает мне сумку и говорит: «Я таскаю её уже полчаса. Сделай что-нибудь полезное».

Охрана слишком переживает из-за урны, чтобы посмотреть на меня повнимательнее — урна металлическая, и никто не хочет её открывать, а тем более засовывать руки внутрь.

То там то здесь охранники ходят парами, смотрят на нас и говорят в переговорные устройства — урна в сумке натирает мою ногу — Изобилия смотрит на свой билет и на надписи над выходами.

«Вот», — говорит она, когда мы находим нужный. — «Давай сумку и убирайся отсюда».

Вокруг нас люди становятся в очередь, когда объявляют приглашение на посадку.

«Пассажиры с билетами на места с пятидесятого по семьдесят пятый ряд, пожалуйста, пройдите на посадку».

Кто из этих людей сумасшедший террорист-угонщик — я не знаю.

По центру зала ожидания пары охранников собираются в четвёрки и шестёрки.

«Дай сумку», — говорит Изобилия, она хватается за ручку рядом с моей рукой и пытается вырвать сумку.

То, что она берёт Тренора с собой, это не имеет смысла.

«Мне нужна моя сумка!»

«Пассажиры с билетами на места с тридцатого по сорок девятый ряд, пожалуйста, пройдите на посадку».

Охранники подходят к нам — трусят рысцой по залу — приближаются с расстёгнутыми кобурами — с руками на пистолетах.

И я понимаю, где пистолет Адама.

Он в урне, говорю я и пытаюсь отобрать у Изобилии сумку.

«Пассажиры с билетами на места с десятого по двадцать девятый ряд, пожалуйста, пройдите на посадку».

Одна ручку у сумки рвётся, и урна катится по ковру. Мы с Изобилией ловим её.

Изобилия собирается захватить самолёт.

«Кто-то *должен* это сделать», — говорит она. — «Это судьба».

Урна в руках у нас обоих.

«Пассажиры с билетами на места с первого по девятый ряд, пожалуйста, пройдите на посадку».

Я говорю, но никому не обязательно умирать.

«Это последнее приглашение на посадку на рейс двадцать тридцать девять».

«Этот самолёт разобьётся в Австралии», — говорит Изобилия. — «Я *никогда* не ошибаюсь».

Охранники кричат: «Не двигаться!»

«Повторяем, это последнее приглашение на посадку на рейс двадцать тридцать девять».

Охранники окружили нас — урна открылась — и мёртвые останки Тревоора Холлиса полетели во все стороны — пепел к пеплу — прямо в глаза — прах к праху — в лёгкие — пепел Тревоора облаком вокруг нас — пистолет Адама падает на ковер.

Перед Изобилией, перед охранниками, перед тем как самолёт улетит — я хватаю пистолет — я хватаю Изобилию — хорошо хорошо хорошо хорошо, мы сделаем по-твоему, говорю я с пистолетом у её головы.

Я отступаю к выходу.

Я кричу, никому не двигаться!

Я останавливаюсь, чтобы билетёр проверил билет Изобилии, потом киваю на открытую урну и Тревоора по всему ковру.

Не мог бы кто-нибудь собрать всё это и отдать вот этой женщине, говорю я, это её брат.

Охранники все скорчились с пистолетами, нацеленными мне в голову, пока билетёр собирает большую часть Тревоора обратно в урну и отдаёт её Изобилии.

«Спасибо», — говорит Изобилия. — «Мне так неловко».

Мы садимся на этот самолёт, говорю я, и улетаем.

Я отступаю к выходу к самолёту, думая, кто же из людей на борту этот сумасшедший угонщик.

Когда я спрашиваю Изобилию, она смеётся.

Когда я спрашиваю, почему, она говорит: «Это слишком забавно. Ты скоро сам поймёшь, кто угонщик».

Я говорю, скажи мне.

Люди на самолёте все столпились в хвостовой части — скорчившись — хныкая — в проходе между креслами гора бумажников и часов и переносных компьютеров — мобильных — диктофонов — плееров — обручальных колец.

Люди хорошо обучены.

Если бы только речь шла о них.

Если бы только речь шла о деньгах.

Я говорю экипажу закрыть двери кабины — не то чтобы я не был на всех этих самолётах от стадиона до стадиона — я говорю, приготовьтесь к взлёту.

В креслах рядом с нами жирный пакистанец в деловом костюме — несколько белых парней из колледжа — какой-то китаец.

Я спрашиваю Изобилию, который из них? Кто угонщик?

Она наклоняется к куче подношений и роется в них — она кладёт в карман красивые женские часы и жемчужное ожерелье.

«Догадайся сам, Шерлок», — говорит она.

Она говорит: «Я просто невинный заложник», — и застёгивает бриллиантовый теннисный браслет на руке.

Кто-то кричит.

Я говорю, рот закрыла! — пожалуйста.

Я говорю всем, пока я не пойму, кто террорист, всем оставаться на местах.

Изобилия достаёт бриллиантовый перстень из подношений и надевает на палец.

Я говорю, один из нас угонщик, я не знаю, кто он, но он собирается сделать так, чтобы этот самолёт разбился.

Изобилия продолжает хихикать.

У меня такое чувство, что я не понял какой-то хорошей шутки.

Я говорю, все расслабьтесь.

Я говорю стюарду пойти в рубку и поговорить с капитаном — я не хочу никому причинить вреда, но я должен убраться из этой страны — мы должны взлететь и потом сесть где-нибудь, где безопасно — где-нибудь между здесь и Австралией — и там все сойдут с самолёта.

Изобилия хохочет рядом со мной.

Я говорю, *даже она сойдёт.*

Мы закончим это путешествие, говорю я, но только я и один пилот — и как только мы наберём высоту во второй раз, говорю я, я скажу этому пилоту прыгнуть с парашютом.

Я спрашиваю, это понятно?

И стюард с пистолетом в лицо говорит, что да.

Самолёт разобьётся в Австралии, говорю я, и только один человек погибнет.

До меня начинает доходить.

Может, здесь нет другого, *настоящего* угонщика?

Может быть, *это я* — угонщик?

Вокруг нас люди начинают шептаться — они узнали меня — я массовый убийца с телевидения — я Антихрист.

Я — угонщик.

И я начинаю смеяться.

Я спрашиваю Изобилию, ты подставила меня, да?

Всё ещё смеясь, она говорит: «Чуть-чуть».

Всё ещё смеясь, я спрашиваю, она правда беременна?

Всё ещё смеясь, она говорит: «Боюсь, что да. Но, честно говоря, я этого не предвидела. Это всё ещё мать его чудо».

Люк самолёта закрывается, и самолёт начинает отъезжать от терминала.

«Вот», — говорит она. — «Всю жизнь тебе нужно было, чтобы кто-то говорил тебе, что делать — твоя семья, твоя церковь, твои хозяева, твоя психолог, агент, брат...»

Она говорит: «А теперь тебе никто не поможет».

Она говорит: «Я только знаю, что ты найдёшь способ выбраться. Ты найдёшь способ оставить всю свою жуткую историю жизни позади. Ты будешь мёртв для всего мира».

Реактивные двигатели начинают реветь, и Изобилия протягивает мне мужское обручальное кольцо.

«И когда ты расскажешь историю своей жизни и оставишь её позади», — говорит Изобилия, — «после этого мы начнём новую жизнь вместе и будем жить долго и счастливо».

2

† w o
д в а

ГДЕ-ТО НА ПУТИ В ПОРТ ВИЛА НА НОВЫХ ГЕБРИДАХ, Я В последний раз подавал обед, как всегда мечтал.

Любой, кого я увижу намазывающим хлеб маслом перед тем, как отломить кусочек — я обещаю, я его пристрелю.

Любой, кто начнёт пить с едой во рту, я его застрелю тоже.

Любой, кто будет чёрпать ложкой к себе, а не от себя, будет застрелен.

Любой без салфетки на коленях.

Любой, кто полезет пальцами в тарелку.

Любой, кто начнёт есть раньше, чем всех обслужат.

Любой, кто подует на еду, чтобы её остудить.

Любой, кто заговорит с едой во рту.

Любой, кто будет пить красное вино, держась за ножку бокала, или белое вино, держась за сам бокал.

Каждый получит по пуле в башку.

Мы в тридцати тысячах футов над землёй — летим со скоростью четыреста пятьдесят пять миль в час — мы в высшем достижении человечества.

И мы съедим это *как цивилизованные люди.*

ТАК ЧТО ВОТ МОЯ ИСПОВЕДЬ.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Изобилия сказала, я спасусь, если пойму, *как* — я спасусь отсюда — спасусь от катастрофы — спасусь от Труженика Брэнсона — от полиции — от прошлого — от истории своей запутанной нестерпимой жалкой жизни.

Изобилия сказала, весь фокус в том, чтобы рассказать людям, как я дошёл до такого, и тогда я пойму, как спастись.

Если бы я только мог уйти и оставить историю своей жизни.

Она сказала, если я уцелею, мы можем попытаться наладить с сексом.

Мы можем строить новую жизнь вместе.

Мы можем брать уроки танцев.

Она сказала рассказывать мою историю до того момента, когда самолёт упадёт на землю — тогда весь мир будет думать, что я мёртв.

И она сказала начать с конца.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Я не знаю, работает ли это. Я не знаю, слышите ли вы меня.

Но если вы слышите меня — *слушайте*.

И если вы слушаете, значит то, что вы нашли — это история, как всё пошло наперекосяк.

Это называется «бортовой самописец» рейса двадцать тридцать девять, его называют «чёрный ящик», хотя он *оранжевый*, а внутри него проволока, на которой останется запись всего этого.

То, что вы нашли — это история, как всё произошло.

Дальше.

Вы можете нагреть эту проволоку добелá и она всё равно расскажет ту же историю.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

И если вы слушаете, то должны знать, что пассажиров высадили с самолёта в обмен на полдюжины парашютов и — *ещё* маленьких бутылочек джина.

И когда мы вернулись в воздух и направились к Австралии, пилот прыгнул с парашютом к свободе.

Я продолжаю это говорить, но это правда.

Я не убийца.

И я здесь один.

Все четыре двигателя выгорели, и я совершаю «контролируемое снижение» — моё пике в землю — это «конечная фаза снижения», когда я двигаюсь со скоростью тридцать два фута в секунду прямо к Австралии — моя «конечная скорость».

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Ещё раз, вы слушаете бортовой самописец рейса двадцать тридцать девять.

И на этой высоте — послушайте — и на этой скорости, в пустом самолёте, — вот моя история.

И моя история не разлетится на миллионы кровавых ошмётков и не сгорит с тысячами тонн горящего самолёта.

И когда самолёт разобьётся, люди найдут бортовой самописец.

И моя история *уцелеет*.

И я буду жить. *Вечно*.

И если я смогу понять, что сказала Изабилия — я смогу спастись.

Но я не могу.

Я глупый.

Проверка, проверка. Один, два, раз.

Так что вот моя исповедь.

Вот моя молитва.

Моя история. Моё заклинание.

Услышьте меня. Узрите меня. Помните меня.

Любимый придурок.

Покойся в мире.

Бездарный Мессия.

Недолюбовник.

Предстал перед Богом.

Я здесь в ловушке — в пикé — в своей жизни — в рубке авиалайнера с плоской — жёлтой — быстро — приближающейся — Австралией.

Я хотел бы столько изменить, но я не могу.

Всё кончено.

Теперь это лишь история.

Вот жизнь и смерть Труженика Брэнсона, и я могу просто уйти и оставить её.

Небо синее и чистое во все стороны, солнце яркое и обжигающее, прямо вон там впереди — мы над облаками и этот прекрасный день вечен.

Проверка, проверка. Один, два



© Chuck Palahniuk, 1999

© перевод, Владимир Завгородний, 2006

© оформление, ID CREATIVE STUDIO, 2006

www.palahniuk.com.ua